

ПАВЕЛ КРЕНЁВ

«И НА ЗЕМЛИ

мир...»

повести и рассказы



Павел Кренёв
И на земли мир...

«Издательство Ивана Лимбаха»

2020

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Кренёв П. Г.

И на земли мир... / П. Г. Кренёв — «Издательство Ивана Лимбаха», 2020

ISBN 978-5-00095-049-9

Эту книгу – сборник повестей и рассказов, балансирующий на грани между деревенской прозой и философской эссеистикой, можно рекомендовать читателям, которые предпочитают реалистические произведения, а главное – тем, кто не любит примитивную и простую литературу. Увлекательное, а порой и остросюжетное действие разворачивается в узнаваемых реалиях русского Севера как советской, так и постсоветской эпохи. Взгляд на происходящее с точки зрения русского православного человека, чьё детство прошло в поморской деревне Лопшеньге, сакральном месте, любимом М. М. Пришвиным и Ю. П. Казаковым, придаёт этой прозе особое обаяние. Павел Григорьевич Кренёв, заместитель председателя Правления Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных премий Николая Лескова, Александра Невского, «Русского Гофмана», «Золотого витязя», «Русских мифов», обладатель Золотой медали Василия Шукшина и других литературных наград. Получены они в том числе и за произведения, вошедшие в эту книгу. Лучший литературный критик России Лев Аннинский, незадолго до своего ухода в мир иной, писал об этих текстах: «Проза Павла Кренёва – важнейшее откровение нашего духовного состояния». Произведения Кренёва переведены на болгарский, польский, турецкий, эстонский и сербский языки.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00095-049-9

© Кренёв П. Г., 2020

© Издательство Ивана Лимбаха, 2020

Содержание

И во человецех благоволение	7
Певец поморья	9
Беляк и Пятнышко	12
Сваня	36
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Павел Григорьевич Кренёв
«И на земли мир...»
повести и рассказы

© Кренёв П. Г., 2020

© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2020

И во человецех благоволение

«И на земли мир...» Какое хорошее название нашёл Павел Кренёв для своей поморской книги. Для меня *поморская* значит настоящая, крепкая, надёжная, продолжающая ряд выдающихся русских писателей-северян: Б. Шергина, Ф. Абрамова, В. Личутина. Сюда с полным правом можно отнести москвича Юрия Казакова, которого не было бы как писателя без Русского Севера. И перед всеми ними надо поставить народные сказания и предания, сохранённые такими подвижниками, как М. Д. Кривополенова, И. А. Федосова, М. Крюкова, династия былинных сказителей Рябининых во главе с её родоначальником олонецким крестьянином Трофимом Григорьевичем.

Архангелогородчина родила и сохранила свои величайшие словесные творения, этому помог чистейший язык – северо-русский говор, в котором звучание, написание и значение слова слиты в триединстве. Более того, именно на Русском Севере сохранились былины Киевского цикла. Здешние земли не были оглашены заезжими языками, сюда не дошли татаромоголы, здесь не было крепостного права.

Суровая природа созидала выносливые характеры. Здесь любовь и дружба были естественными. Взаимовыручка, бескорыстная помощь, жертвенность не были доблестью, а нормой жизни.

Такая здесь и письменная литература. В ней необычайное богатство местных слов, синонимических рядов, обозначающих мельчайшие оттенки человеческих взаимоотношений, явлений природы. В словарном запасе Севера нет только похабщины, бранных слов, чем омерзилась нынешняя словесность. Чистота речи идёт от чистоты нравов. Чистота нравов – следствие веры в Бога.

Не оскудел русский Север талантами. Явление, именно явление, Павла Кренёва – тому доказательство и радость для всех нас. Прежде всего для писательского братства, которое, слава Богу, не утратило чувство солидарности, единения в борьбе за Русь православную, и для читательского сообщества, которое, хотя и засыпается мусором детективов, жаргонов, сплетен, страшилок, пропагандой разврата, пошлости и ложных авторитетов. Читатель всё-таки ищет в книгах рассказы о подлинной жизни, о людях, которым хочется подражать, на примере которых надо воспитывать детей. И для этой благороднейшей цели проза Кренёва подходит как никакая другая.

Мальчишка, паренёчек, отрок – один из главных героев книги. Физическое взросление, становление на ноги, овладение мужскими профессиями описано так зримо, что читаешь и не видишь строчек, а въяве живёшь вместе с героями. Мальчишку, одного(!) отпускают в лес, чтобы он там провёл ночь. Девочка, чтобы спасти семью от голода, идёт на страшный кровавый промысел охоты за тюленями. И её спасают бельки – осиротевшие деточки убитой мамочки. Новорождённые дети природы согревают дитя человеческое. Невозможно читать без слёз. А как мальчик Егорка рвётся к маме на дальний сенокос, как тоскует без неё. Идёт и приходит. И становится в ряд со взрослыми. А как любят отцы своих сыновей. Как осиротевшие дети становятся детьми всей деревни.

Необыкновенно мастерство писателя проникать в мир природы, она у него жива, описана с таким умением, что любишься ею, будто её видишь, а не читаешь о ней. А животный мир! Кому-то при чтении повести «Белоушко» придёт на ум сравнение с повестью Джека Лондона «Белый Клык». Так да не так. Та литература не русская, в ней стравливают псов ради денег, а у Кренёва женщина не даёт ради денег убивать волчонка. И опять до слёз трогает сцена прощания с ним, когда он, уже повзрослевший волк с подругой, в последний раз подходит к дому, в котором его спасли.

Любовь – вот главное чувство, двигающее рукой автора. В годы официального безбожия люди могли отойти от Бога. И отходили. Но Бог никогда не бросал своих неразумных детей, всегда был рядом. И многие герои книги прозревают и приходят к Нему. А проводники на этом пути – кренёвские старухи, эти нестигаемые воительницы православного духа. Именно им Господь дарует большой срок жизни, чтобы они успели передать наследникам, любимым внукам мудрость предков.

С какой любовью живописуются в книге старики! Как полон высокого смысла их уход в вечную жизнь.

Всех героев рассказов и повестей соединяет ещё одно великое слово – семья.

И как зримо образы героев и повестей, картины родной северной природы складываются у читателя в единый образ Родины.

Книги Павла Кренёва очень нужны для школы, для классного и особенно для семейного чтения, традиция которого почти утрачена. Незабываемы для меня зимние вечера, когда мы забирались на печь и полаты, а мама при свете керосиновой лампы читала нам вслух.

Я бы эту поморскую прозу рекомендовал читать не только, что называется, своим, любящим Россию, но и тем, кто её ненавидит, врагам внешним и внутренним. Читать как учебник познания русскости в этом мире и понимания, что ни у кого никогда не получится захватить Россию, подчинить её чужебесию. В русском народе, который никуда не делся, есть кремневой стержень веры Православной, традиции вековечных трудов, семейные устои, которые соединяются русским Словом. Это в нас с малых лет. Особенно в северянах. Помню, к нам село приехала семья из Архангелька и в классе появился мальчишка Петя. Он не был ни задавакой, ни похвальбишкой, но твёрдо всегда стоял на своём: его родина самая лучшая. Наша вятская река, леса, лесные поляны, луга, сосновые боры, конечно, ему нравились, но он заявлял: «А у вас моря нет». Да, моря у нас не было. Но были же заречные, широкие, чистые, рыбные озёра. «Ну и что, – говорил Петька, – зато у вас Ломоносова нет». И мы отчаянно Петьке завидовали.

Милые, наивные, чистые мальчишки моего детства! Конечно, мы росли и доросли до понимания, что Ломоносов – он не только Петькин, но и наш, он общий, потому что он, как и мы, русский.

Вот, учитесь, нынешние наши сменщики на этой земле, читайте книги Павла Кренёва, укрепляйтесь в любви к Отечеству. И будьте спокойны за его будущее: Бог за нас, и никто против нас.

«На земли мир и во человецех благоволение».

Владимир Крутин

Певец поморья

У писателя Павла Кренёва очень светлая проза. Даже когда он пишет о самых тяжёлых периодах жизни своих поморских героев.

Вот описание смерти бабушки Парасьи в повести Кренёва «Поздней осенью, на Казанскую»: «Ночью к бабушке Парасье пришёл Николай Угодник. Он стоял у неё в ногах, худенький, невысокий, седой старичок с добрым лицом. Стоял и тихонько ей улыбался. Парасья совсем и не испугалась.

– Это ты пришёл-то ко мне, голубеюшко? – спросила она его. – А я тебе и рада.

Николай ничего не сказал, а только закивал слегка головой и стал манить к себе указательным пальцем. И Парасья поняла: он пришёл за ней и зовёт к себе. Стало быть, пора помирать. Бабушка проснулась...

... Грустные мысли живут с ней рядом постоянно, Парасья невольно давно уже свыклась с ними. Но вот сегодня к ней пришла радость. Это потому, что в своё последнее утро..., как в далёком детстве, ласково смотрит на неё Николай угодник, живший всю жизнь в её сердце. А ещё радостно было оттого, что Парасья твёрдо верила – вымолит она сегодня лучшую долю для своего заблудшего сына, призрит и вразумит его, непутёвого, Господь и убережёт по заступничеству Николая Чудотворца её дорогих далёких внученек-кровинушек. Не сомневалась сегодня Парасья, что будет у них счастливая жизнь. А иначе – для чего все её страдания и жертвы? Жертвой жизнь ладится...

Когда гроб лежал на поперечинах над вырытой могилой, от него исходил еле видимый тихий, туманный свет. Многие видели его и удивлялись: откуда взялось это чудное свечение?...»

Светлая проза Павла Кренёва даже противоречит его же собственной официальной биографии. Прочитав его биографию, и от его прозы ждёшь нечто в духе боевиков.

Он выпускник Суворовского военного училища, факультета журналистики Ленинградского государственного университета, окончил аспирантуру Академии безопасности России, стал кандидатом юридических наук, дослужился до высших званий и высоких чинов, преподавал в Академии безопасности, занимался научной работой и руководил группой научных сотрудников и консультантов Министерства безопасности РФ по вопросам разведки и контрразведки. Четыре года работал в Администрации Президента РФ в Главном правовом управлении. В марте 1996 г. его назначили полномочным представителем Президента РФ в Архангельской области. Он достойно участвовал в выборах главы администрации области и не стал губернатором лишь в результате интриг...

И молодец, что не стал: одним хорошим писателем на Руси стало больше. Не верю я, что перед губернаторами открывается дорога в большую литературу. Да и офицеры, занимающие высокие государственные посты, как правило, в литературу не рвутся.

Другая судьба была предназначена свыше нашему герою, от другой своей биографии он идёт. Официальная биография Павла Григорьевича Поздеева (это его настоящая фамилия) лежит где-то в спецархивах, а я же пишу о своём друге, северном земляке, русском писателе Павле Кренёве, родившемся в деревне Лопшеньга, на Летнем берегу Белого моря 28 октября 1950 года. Повести и рассказы из книги «И на земли мир...» посвящены жизни на русском Севере, и написаны они с точки зрения так называемого «простого человека».

Павел Кренёв – из коренных поморов. Вот и писательский псевдоним он взял самый что ни на есть поморский – Кренёв.

Сам автор считает: «Мой творческий псевдоним происходит от прозвища моих исконных предков. Дело в том, что слово „крень“ на архангельском, поморском наречии означает твёрдую, извилистую древесину, которую сложно, а то и невозможно перепилить, расколоть.

Мои пращуры получили такое прозвище, потому что были они сильными, крепкими мужиками. Вообще, это слово у нас на Севере применяется к людям упорным, упрямым. Я доволен своей новой фамилией, потому что она связывает меня с родовыми предшественниками, питает меня древней поморской волей-волюшкой, наливает силой-силушкой...»



Павел Кренёв и его старший друг Владимир Личутин

Павел рассказывает о своих земляках: «...Заметьте, даже от выражения „коренной помор“ веет былинной крепостью, кондовостью и креновой силушкой.

Их трудно обидеть, потому что народ этот не очень-то обидчивый, однако крикуну и хулителю, высказавшему ему ненароком незаслуженную ругань, лучше поскорее унести прочь свою нелепую голову.

Это хорошие и рачительные хозяева, умелые и мастеровые. Каждый помор умеет сшить себе карбас, связать и наладить снасть и на своём карбасе и со своей снастью выйти в открытое море на рыбный и зверовой промысел.

Поморы – последние носители былинного, затерянного, считай, полностью древнейшего уклада Северной Руси, его самобытнейшего языка, который и не сказывался-то совсем, а выпевался в удивительной, былинной, разговорно-песенной вязи народных поморских сказителей. Живущий доселе на берегах Белого моря народ каким-то чудом пронёс через все лихолетья, бесчеловечные опыты тех, кто душил и разрушал Россию „до основанья“, хрустальные частицы подлинной народной культуры, языка и исторического опыта.

Слава Богу за то, что он позволил мне родиться посреди этих людей, в невероятных красотах северной природы, прямо на берегу Белого моря. Сердце моё наполнено постоянной радостью от того, что я – плоть от плоти этого края. Тут прошло моё, в буквальном смысле босоное детство. Все мои предки тоже родились здесь, на берегах нашего моря.»

Его родовое сознание оказалось сильнее, по пути Юлиана Семёнова он не пошёл. Зато он прекрасно и естественно пишет о зверье и птицах как о самодостаточных участниках Божественного мироздания, равных человеку. Его память напоена древнейшей культурой русского Севера. Как говорит писатель, ему не нужно ездить в этнографические экспедиции, чтобы собрать материал для своих книг. Он весь полон поморским духом, погружён в историю русского Севера. Павел построил на свои деньги в своей деревне церковь, организовал Казаковские чтения (Юрий Павлович Казаков – автор книги «Поедемте в Лопшеньгу»).

Мне в книге рассказов и повестей Павла Кренева «И на земли мир...» зачастую интересен даже не сам автор, которого я и так хорошо знаю, а герои его поморской прозы: дедушко Павлин, дядя Вася, Трофим... Впрочем, половина его героев – это не люди, а северные звери, тюлени, глухари, лебеди, рыси. Все они весьма и весьма самобытны. По рассказам видно, как автор не выпячивает себя и свою позицию, а абсолютно естественно включает их в канву повествования, и герои его как бы подчиняются не воле писателя, а самостоятельно идут от жизни. К тому же одни герои – поморы, охотники и рыболовы – иногда остро конфликтуют с другими его героями – тюленями, лебедями, глухарями, в результате чего случается гибель и тех и других.

В рассказах о животных писатель явно на стороне животных, и мы ненавидим Охотника, убивающего такого хорошего глухаря Пеструху, ненавидим убийцу лебедя Свана, любим тюленят Беляка и Пятнышко, спасших начинающую зверобойку Аню. Вот уж жестокий промысел: гренландские тюлени-самки никогда не бросают своё потомство, и потому на зверобойных промыслах в добыче почти нет самцов; они, почуяв промысловиков, сразу бросаются со льда в море, остаются только самки и их детёныши. Их сало и мясо спасли в голодные военные годы от гибели и Архангельск, и другие северные города. Потому и стоит в Архангельске памятник самке гренландского тюленя – утельге.

Как совместить правду убиваемой природы и правду охотников?

И вот уже в повестях и рассказах Кренёва о самих охотниках мы соглашаемся с суровой правдой жизни промысловиков. Это даже не забавы охотников-любителей, убивающих всё живое, лишь бы потешить свою страстишку. А рассказ о людях, всю жизнь живущих этим суровым, и тяжёлым, и кровавым промыслом, это основной доход для жизни всех поморских сёл. И все эти дяди Трофимы, дяди Васи живут в прозе Павла Кренёва, потому что он их взял из жизни, из своего поморского детства.

И потому Павел Кренёв – самый настоящий народный писатель. Как и его старшие северные братья: Фёдор Абрамов, Василий Белов, Владимир Личутин...

Это часть истинно народной литературы, которая чудом дожила до нашего времени.

Да и во всей мировой литературе именно глубоко национальные писатели определяют её развитие, демонстрируют и народный язык, и народные характеры.

Тот же американский писатель Торнтон Уайльдер писал, что литературный стиль и все словесные эксперименты – это нечто вторичное для писателя: «Смысл литературы есть код сердца. Стиль – лишь обиходный сосуд, в котором подаётся миру горькое питьё». Самое главное для Павла Кренёва – просто рассказать о простом, добраться до поморского космоса, до северного народного человека.

Ещё в пятом классе, как вспоминают земляки, школьник Паша Поздеев мечтал в своём сочинении, опубликованном в районной газете, что «лоси будут ходить по деревне, как коровы, и есть с рук хлеб, глухари начнут токовать прямо на крышах.» В жизни всё произошло наоборот: и лосей стало меньше, и глухарей не видать, и тюлени исчезают. Да и такие народные писатели, как Павел Кренёв, – большая редкость в современной литературе. Они и становятся последними хранителями былинного уклада поморов! Плоть от плоти поморского края!

Владимир Бондаренко

Беляк и Пятнышко

1

В самом центре города Архангельска горит Вечный огонь. В короткие, белёдые северные ночи пламя его, бледное и жёлтое, тускловато помаргивает среди серого гранита и совсем почти не освещает прозрачную ширь серёдки северного лета. Разве можно осветить маленьким огнём бесконечную светлость белых ночей? В ту пору Вечный огонь заметен лишь вблизи.

Зато зимней холодной чёрной ночью огонь раздувается прилетающим с полуночных краёв северным холодным ветерком-сиверко, который шквальной своей рванью расплёскивает пламя в разные стороны. И отблески огня прыгают по площади, залетают в окна окружающих домов, улетают далеко в небо и красят в розовый цвет падающие на город снежинки.

Рядом с Вечным огнем стоит странный памятник. Вряд ли кто-нибудь из российских граждан видал что-нибудь подобное в других городах мира.

Это памятник гренландскому тюленю. Он словно бы только что вышел из Северной Двины, которая течёт за его спиной, прополз, опираясь на ласты, через пляжный песок и вскарабкался на высокий камень-постамент. Громадный, бронзовый, он поднял высоко голову и глядит с обелиска на город, на людей. Глядит внимательно, пронзительно и придирчиво. Он словно всматривается в лица горожан, в их сердца и задаёт очень важный для них и для себя вопрос: правильно ли он поступил, отдав за живущих в этом городе людей столь невозвратно много. Взгляд его и тревожный, и требовательный, ведь он отдал за этот город свою жизнь.

Ему хотелось бы, чтобы это было совершено не напрасно, чтобы люди оценили его жертву и помнили о нём.

Многие, особенно приезжие, удивляются совсем ненужной, с их точки зрения, сентиментальности жителей Архангельска.

– При чём тут тюлень? Не лучше ли было поставить памятник собаке, или, например, кошке, или какому-нибудь там оленю? Они, эти животные, много полезнее для человека, чем это ластиное существо.

Я сам слышал такие разговоры.

Давайте простим их. Люди просто не знают предмета, о котором судят. Они не ведают сути событий, происходивших, впрочем, совсем не в такие уж давние времена...

2

Девочка Аня Матвеева приехала в заполярный город Мурманск. Приехала она на поезде, конечно же, не одна – кто бы отпустил её, подростка, в дальнюю дорогу без надёжного сопровождения? Время военное, лихое, в разорённой беспощадной войной стране всякое случалось на дорогах. Бывало, что и взрослые люди пропадали ни за понюх табаку, попав ненароком в какую-нибудь случайную дорожную заваруху. А тут деревенская девчонка, нигде ещё не бывавшая сиротинка-безотцовщина. Её облапошить – любому жигану в радость, раз плюнуть.

Стоял месяц март 1945 года. Война шла уже к завершению. Смертельный её вихрь, покружив над российским северо-западом, разметав деревни, спалив лес, унёсся на запад и крушил теперь города Польши и Германии, коверкал людские судьбы и везде оставлял после себя только выжженную землю и незаживающие язвы неизбывного человеческого горя.

В почти совсем разрушенный и малолюдный Мурманск Аня приехала через притихшую и обугленную Карелию. Весь этот город, раскиданный по чёрным, опалённым пожарами

сопкам, всего полгода назад сотрясался от взрывов снарядов и бомб и был теперь похож на погашенный гигантский костёр с ещё тёплыми, раскиданными по земле головешками – недогоревшими остатками бывших человеческих жилищ. Ане показалось, что прямо через город проехал тяжёлый, гигантский, размером до небесной выси, сокрушительный каток лютой войны. Проехал и раздавил всё, что жило в нём раньше.

На улицах, посыпанных углями и пеплом, почти не было людей. Только кое-где сновали, подгоняемые резкими командами охранников, безликие худые фигуры, одетые в серые лохмотья, – силуэты немецких пленных. Разрушив город, они теперь его восстанавливали.

Но мурманский морской порт работал. Он снабжал возрождающийся город, корабли и воинские части всем необходимым, через него переправлялись в глубину России товары ленд-лиза, отсюда уходили на рыбный и зверобойный промысел суда морского пароходства.

3

Аня приехала с бригадой зверобоев. Ей самой, её маме и их родне – дедушке Илье – стоило больших хлопот, чтобы она попала в эту бригаду. Входило в неё всего-то пятнадцать человек, а желающих участвовать в зверобойном отряде от деревни набралось человек двадцать пять. На колхозном собрании долго судили-рядили, привередливо обсуждали каждую кандидатуру. Это потому что зверобой испокон веку хорошо зарабатывают, а всякая семья хочет, чтобы и в их дом пришла копеечка.

– Почему эт Аньку зуйком посылать? – допытывались односельчане. – Лучше парня какого. У ей силёнок не хватит шкуры по льду таскать да туши. Парня надо!

Аня с мамой сидели среди односельчан, волновались. Мать рвалась выступить и сказать хоть пару слов, да понимала: бесполезное это занятие. И слушать не станут, знамо дело – мамка за дочку хлопочет. Хуже только будет. Но сказал веское слово дед Ильи, уважаемый в деревне человек.

– Я вам так скажу, селяне, эта девка мужика хорошего стоит. Я в прошлом годе сиживал с ей на Никольской тоне, дак знаю. И на вёслах гребёт в погодушку, и кашеварит не хуже наших жёночек. Труженица она, надо брать её.

Сопротивлялись некоторые. Выступала Калинична, самая напористая деревенская крикунья:

– Ты, Ильи, хоть и рыбак самолучший, а не прав ты! Родню свою тащишь. А другим ведь тоже надо рублик да другой заработать.

Дед Ильи был родным дядей Аниной матери – братом её отца, и крыть ему было нечем. Так бы, наверное, и заклевали девочку, и не поехала бы она на зверобойку, но слово взял председатель колхоза Майзеров. А его мнение, чего уж там, самое авторитетное:

– Тут надо по-хорошему, по-человечески подойти. Все же знаем, что у Анны нашей Матвеевой год назад похоронка на отца пришла, и она, девочка эта, младших братишек своих вытягивает. Как взрослая женщина, работает в колхозе всё лето, во все каникулы. Мать у неё с туберкулёзом – это всем известно, а Анна всего-то в седьмом классе, вы же знаете. Надо бы помочь семье этой.

Председатель, сидя в президиуме, опустил голову, спрятал покрасневшие глаза, помолчал. Потом рывком голову поднял и уже с улыбкой сказал притихшему залу:

– А кроме того, надо бы поддержать будущего нашего зоотехника. Матвеева Анна летом будет поступать в сельхозтехникум по нашей путёвке, а потом, значит, к нам и вернётся, в наш колхоз.

Все дружно захлопали, и Аню включили в бригаду, которая отправлялась на промысел гренландского тюленя в район Зимнего берега Белого моря.

4

В мурманском порту бригада погрузилась на транспортное судно «Лена». Этот гигантский трофейный корабль на период тюленьей охоты специально переоборудовался для перевозки промысловиков, тюленьего сала, мяса и шкур. Один из трюмов предназначался для жизни в нём людей. Там стояли застеленные койки, тумбочки, столы. Питание в большой кают-компании организовывалось по очереди, побригадно.

Ане на судне понравилось всё. После деревенской обыденности, где на море плавают всего лишь карбасы и всё давно уже кажется однообразным, здесь была другая жизнь.

На палубе работали матросы. Они перематывали и перекладывали канаты, приводили в порядок корабельный такелаж, шаркали по доскам длинными берёзовыми голиками, смазывали мазутом чёрные стальные лебёдочные тросы. Аня смотрела и думала: наверно, лебёдкам предстоит большая работа, вот они о них и заботятся.

Она стояла на палубе, прислонившись к борту. Ей было холодно, потому что корабль шёл по морю, а на море всегда ветра. Голова её была укутана в старый шерстяной, но в общем тёплый платок, тельце прикрывал поношенный мамин свитер и выдавшая виды мамина же фуфайка. Холодный восточный ветер продувал насквозь всю эту одежду, но Ане совсем не хотелось спускаться в трюм. Ей нравилось разглядывать летящих за кораблём чаек и далёкий берег, тянувшийся бесконечной неровной полосой за правым бортом. На нём, словно тупые зубья огромного чудища, высились полярные сопки, выкрашенные в белый и коричневый цвет. Между тёмным берегом и серо-синим морем постоянной белой полосой пролегал прибрежный лёд. От него в море отплывали отколовшиеся льдины. Словно белые пароходики, отправившиеся искать приходящую из-за синя моря красную весну. На некоторых таких пароходиках посиживали вальяжные пассажиры – тюлени. Они плыли на льдинах и грели свои толстые бока на солнышке. Они уплывали из надоевшего холода навстречу весне... Ане совсем не хотелось в трюм.

5

– Эй, пассажирка, ты чего тут зябнешь? – Аню кто-то окликнул. – Вот помрёшь, тогда будешь знать.

На трапе, ведущем к капитанскому мостику, стоял и улыбался всей своей веснушчатой физиономией какой-то молоденький морячок. Фуражка у него красовалась на голове набекрень, а козырёк закрывал правый глаз. Аня сразу решила, что так могут носить фуражки только хулиганы, хвастуны и вообще несерьёзные, а может быть, и нахальные люди. И она ответила так, как и должна была ответить скромная деревенская девушка, отличница и комсомолка.

– А вам-то какое до меня дело? Хочу и стою.

Морячок, видно, не знал, что и сказать. Он маленько опешил: только выскочил из каюты и сразу замёрз, а тут стоит какая-то ненормальная, видно, что продрогла вся, да ещё и хамит.

– Да ты же в самом деле заболеешь. А у тебя работа впереди. Не на курорт ведь отправилась.

Аня понимала, что он прав, что давно пора идти в тепло, но не могла же она вот так сразу, по команде этого хвастунишки, взять и куда-то бежать. Она только фыркнула и отвернулась, стала смотреть на небо и на чаек.

– Ладно, – примирительно произнёс морячок, – вижу я, что ты решила закончить свою молодую жизнь самоубийством. Но я лично не считаю, что это правильно. Комсомольцы

должны умирать ради чего-то, например, за Родину. А просто так нельзя. Комсомольский устав это не разрешает.

Аня ещё раз фыркнула и спросила:

– Откуда вы знаете, что я комсомолка?

– Да по тебе сразу видно. Ты же ненормальная. Комсомольцы все такие.

– И вы тоже такой?

– И я такой же.

Он попереминался, поёжился и вдруг заявил:

– Я, знаешь, чего решил?

Аня промолчала. Она не могла и не хотела долго разговаривать с посторонним незнакомым человеком, какая, в конце концов, разница, чего он там решил?

– Я буду стоять здесь, пока ты не уйдёшь с палубы в тепло. Умру вместе с тобой.

И он втянул голову в куртку, как будто ему стало ужасно холодно и он в самом деле приготовился к самому худшему. В глазах его возникла решимость. Аня понимала: шуточная, конечно. Потом он сказал:

– Мне как-то неудобно стоять рядом с тобой одетым, когда ты мёрзнешь. Хочешь, я отдам тебе свою куртку? Она тёплая.

Быстрым и уверенным движением он сбросил с себя форменную куртку и набросил на Анины плечи.

– Так будет лучше, – сказал он.

Аня не знала, что и сказать, не знала, как реагировать. Всё это было впервые... Но парень явно не был бесстыжим нахалом.

– А вообще, – сказал он, – давай знакомиться. Меня зовут Михаил Плотников, я четвёртый помощник капитана, штурман.

– Чего-то я сомневаюсь, – сказала Аня, – такие молодые штурманы разве бывают?

– Ну зачем мне врать? – стал серьёзно возражать Михаил. – Семь классов – это четырнадцать лет, затем мореходка три года, штурманский факультет – это семнадцать. Я год как работаю четвёртым штурманом, и мне сейчас восемнадцать. Всё реально.

В Ане шевельнулось какое-то чувство, похожее на уважение к этому живому веснушчатому парню в лихой фуражке.

– А меня зовут Анна, Аня Матвеева. Я учусь в седьмом классе.

– Наверное, отличница?

– Есть такое дело, но я этим не горжусь, просто так получается.

– А как же, дорогая моя, тебя отпустили на зверобойку? Уроки же идут. Ты что, отпетая прогульщица?

– Ничего, я наверстаю. Меня директор отпустила. Просто у меня в семье очень трудно сейчас. Мама болеет, работать не может.

– А отец на фронте?

– Мой папа погиб год назад на Карельском фронте.

Плотников покачал головой, помолчал. Он спустился по ступенькам на палубу, решительно взял Аню за руку и повёл по лестнице вверх. Она не понимала, куда и зачем её ведут, сопротивлялась.

– Слушай, ты, комсомолка, голоднющая вся, замёрзла совсем и ещё упирается. Давай двигай! Мы тебя хоть отогреем немного.

Он привел её в командную рубку, где находился капитан и его старший помощник. Там Аню накормили американской тушёнкой и напоили чаем с печеньем. Тушёнку Аня никогда в жизни не ела, и она показалась ей невероятно вкусной. Потом ей дали корабельный бинокль, и она долго разглядывала море, расстелившееся по бескрайним просторам вокруг корабля, небо и облака, летящих над водой чаек, белые льдины на тёмно-синей и свинцово-серой воде,

далёкий берег... Близость дальних предметов потрясла Аню, и она всё глядела и глядела в прохладные окуляры. А четвёртый штурман Плотников стоял рядом и подсказывал, как надо пользоваться оптическим прибором под названием бинокль.

А потом, когда прошли опасное ледяное поле, капитан отдал штурвал старшему помощнику и долго беседовал с Аней о деревне, о колхозе, о поморской жизни. У него самого осталась дочка в Архангельске, он её редко видел, потому что всё время был в море, и сильно по ней скучал.

Плотников явно не хотел уходить из рубки, и капитан его прогнал. У четвёртого помощника было много обязанностей в корабельном хозяйстве.

Аня, разморенная едой, теплом, добрым разговором с капитаном, уставшая от дороги и впечатлений сегодняшнего дня, уснула прямо в кресле. Капитан отнёс её на руках на топчан, стоящий в углу капитанской рубки, и накрыл своей шинелью.

Так она провела первую свою ночь на зверобойном промысле.

6

Ранним утром следующего дня транспортное судно «Лена», ведомое ледоколом «Капитан Мелехов», преодолело горло Белого моря и вошло в морскую акваторию. Предстоял недолгий путь к лёжкам гренландского тюленя, испокон веку расположенным в одних и тех же местах – напротив Зимнего берега Белого моря. Этот коренной полярный житель – гренландский тюлень – извечно живёт в холодных водах северных морей и Ледовитого океана. Из-за лютых штормов, разбивающих любые льды, там невозможно производить потомство, выращивать детёнышей – их убьёт океан. Поэтому Белое море, более спокойное и мелкое, загороженное со всех сторон сушей, гренландские тюлени рассматривают в качестве родильного дома для своих детёнышей и собираются здесь каждую весну, чтобы продолжить свой тюлений род.

Кроме того, в Белом море долго не тают ледяные поля. На их кромках, около самой воды, самкам удобно рожать тюленят и нянчить их первое время. Потом тюлени быстро растут и становятся самостоятельными. Рядом с самками всегда много взрослых самцов. Они почему-то всегда воют друг с другом и постоянно дерутся. Так создаются лёжки – места скопления тюленей. Здесь всегда стоит рёв дерущихся бойцов.

Судно «Лена» пришвартовалось прямо к ледяной кромке, ко краю огромного ледяного поля, упирающегося дальним своим концом прямо в Зимний берег. Примерно в километре от места швартовки вдоль края льда чернела толстая полоса тюленьей лёжки.

Все шесть бригад зверобоев, представителей колхозов всех беломорских берегов, каждая по двенадцать – пятнадцать человек, сошли на лёд.

Бригадир коллектива от колхоза «Промысловик» Петр Зосимов по-военному построил своих колхозников, разделил на группы и всех проинструктировал. Сержант в отставке, на войне он был тяжело ранен осколками вражеской мины в лицо и в лёгкое и поэтому говорил плохо, с трудом выговаривал слова, задыхался. К такой его манере все привыкли ещё в деревне, и поэтому его речь была для всех понятна.

– Задачи у нас простые, – сказал он, – добыть и сдать на транспортное судно как можно больше морского зверя. От этого зависит общий заработок. Устраиваем соревнование: стрелок, занявший первое место, сверх зарплаты получает премию, равную зарплате. Кто окажется на последнем месте, тот в следующий сезон на зверобойку не поедет. Всем понятно?

– Поня-ятно... – заголосили зверобои.

– Имейте также в виду, что среди колхозных бригад организовано социалистическое соревнование. Лучшие бригады будут отмечены грамотами профсоюза области. Это большая честь для нашего колхоза и для нас с вами. Надо бы побороться, товарищи, за эту высокую награду. Согласны, товарищи?

– Со-о-гласны! – прогудела бригада, и все пошли по своим местам. Речь бригадира, короткая и понятная, всем понравилась. Работа началась.

7

Стрелки от колхозных бригад заняли выделенные им сектора и пошли вперёд к тюленьей лёжке. Все они были вооружены трехлинейными винтовками системы Мосина калибра 7,62 мм и тяжёлыми дубинами. Приблизившись к лежбищу метров на двести, они сбавили ход, стали ступать медленно, а затем пошли вовсе внаклонку, крадучись. Шли так, пока наблюдавшие за ними самцы не стали один за другим скользить по снегу и нырять со льда в море. До стаи оставалось пятьдесят-шестьдесят метров. Стрелки все как один попадали на лёд, подползли к ближайшим ледяным ропакам и, положив на ледяные выступы свои винтовки, открыли по тюленям бешеную стрельбу.

Стреляли не по головам, а по силуэтам. Так надежнее: легче прицеливаться, а разрывная пуля, выпущенная из мосинской трехлинейки, обладает страшной начальной скоростью и, попав даже просто в корпус, не оставляет никакому живому существу шансов на выживание.

Отстреляв по двадцать патронов (по четыре обоймы), стрелки поднялись, подхватили винтовки и дубины и побежали к тюленьему стаду. Основная часть близлежащих тюленей была неподвижна. Звери лежали, уткнув морды в окровавленный снег, некоторые валялись на боку, безвольно опустив на живот лапы и откинув назад головы.

Часть билась в предсмертных судорогах, и стрелки к ним не подходили: зачем тратить патроны и силы, если зверь сам скоро подохнет.

Но многие тюлени с окровавленными боками, раненые, но ещё живые, кидались с разъярёнными пастями, полными острых клыкастых зубов, на людей, и стрелки или убивали их в упор из винтовок, или глушили дубинами.

Забой гренландских тюленей – дело кровавое. Стрелки шаг за шагом продвигались вперёд среди мёртвых тюленьих туш, не оставляя за собой ничего живого. Под ноги им часто попадались тюленьи детёныши – бельки – доверчивые, любознательные существа, одетые в белоснежные шкурки, с чёрными бусинками глаз. Но в этой зверобойной кампании плана по их добыче и сдаче не было, и стрелки не обращали на них внимания, а уж совсем докучливых просто отпинавали в стороны.

Но лёжка гренландского тюленя и широкая, и длинная. Она протянулась вдоль морской кромки на километры. И вот группа других стрелков, отработавших свою территорию, обходит её справа и идёт вперёд к ещё не отстрелянному зверю. И там начинается новая бойня.

И повсюду посреди ослепительно белого снега в красных от крови полыньях лежат туши убитых и раненых тюленей, и растекаются от них кровавые ручейки, раскрашивая всё новую снежную белизну в ярко-алый цвет.

И повсюду ходят люди с дубинами и винтовками, и над всем ледяным пространством далеко вширь и высоко в небо разносится предсмертный рёв убиваемых людьми животных.

Сразу за стрелками идут и принимаются за свою работу обелёвшики, свежеватели тюленьих туш. Каждый подходит к убитому зверю и своим острым ножичком разделяет его на две части – на шкуру с приросшим к ней толстым слоем жира и на мясо. И уж потом в работу включаются волочилыщики. Их задача – подтащить мясо и шкуры к месту погрузки на транспортное судно.

Те и другие ходят по красной жиже – по насыщенному кровью снегу.

8

Аня ещё в деревне была назначена волочильщицей. Ей, как и другим, выдали стальные крючья. Здесь в обиходе их называли гаками. Вообще Аня скоро убедилась, что в зверобойном деле много специальных терминов, странных, словно иноземных слов. Здесь тюленьи лапы называют катарами, ледяные торосы именуют ропакками, а стальной трос – это финш. Здесь тюленью тушу называют рауком, ошкуривание тюленя – обелёвкой, а роды самки тюленя – это вам совсем и не роды, а говорят: утельга ощенилась. Аня недоумевала: тюленята – это же не щенки. Почему тогда «ощенилась»?

Она уже стояла на льду вместе с другими волочильщиками, крутила в руках свой тяжёлый гак, примерялась, как станет подцеплять им шкуры убитых тюленей, как будет тащить их по льду. А как же, везде требуется сноровка.

Её окликнула ледокольная повариха Варвара, с которой они познакомились ещё в Мурманске. Оказалось, что та давно работает на судне, знает многих поморских рыбаков и зверобоев. Знала она и отца Анны: тот не однажды бывал на тюленьем промысле до войны. Искренне опечалилась, когда узнала, что хороший человек погиб.

– Анечка, погоди маленько, я тебе сказать хочу... – и побежала по трапу к ней.

Подошла без накидки, без телогрейки, в одной кофтенке, мороз ей не мороз. Голова в тоненьком платочке. Отвела за локоток в сторонку.

– Предупредить хочу тебя, девка. Сейчас ты много кровушки увидишь. Сможешь, нет, выдержать такое? Дело-то страшно. Бывает, что котеры и не выдерживают, назад убегают. Девки-то молоды особенно. Сидят потом в уголке, глаза прячут.

И она, наклонившись вперёд, выгнула голову, вытаращила глаза, рассматривая Анино лицо.

Аня съёжилась, она уже слыхала и в деревне, и на судне о том, что картина будет тяжёлая. Но куда ей было деваться? Какими глазами придётся ей смотреть на голодную семью, если она не привезёт хоть немного денег? Она приехала на заработки, а деньги – это она хорошо знала с самого измательства – никто в карманы просто так не накладывает. Их все тяжким трудом зарабатывают.

– Я постараюсь, – сказала она просто и посмотрела поварихе в глаза, – мне надо денег домой привезти, у меня семья дома голодает. Куда мне теперь бежать отсюда?

Она пошмыгала носом и как будто даже приободрилась.

– Я, тётя Варя, видала, как овцу соседи резали. Не умерла же со страху, и сейчас, наверно, тоже не помру.

– Сравнила тоже, овцу-у, – едко передразнила её повариха. – Тут не одна овца, там страхи Божии что учиняется, по кровушке вышагивать будешь, дева. Видала я это дело коего дни... Форменны страхи Божии.

Она совсем скукожилась от холода, тяжело подпрыгнула пару раз на скрипучем снегу, заторопилась обратно в корабельное тепло.

– Ладно, девка, прозябла я чево-то, пойду-ко я.

Варвара резко развернулась, шагнула к ледокольному трапу, остановилась, повернулась опять к ней со скрещёнными на груди руками, озябая, со сморщенным лицом.

– Жалко мне тебя, Анька. Вот ведь как тебе приходится, сиротинке. Держись уж как-нибудь Христа ради.

Скрученная, вдруг сторбившаяся то ли от холода, то ли от жалости, она шла по трапу наверх. Что-то вытирала ладонью на своём лице.

9

Увиденное потрясло её. И она подумала: это белое поле в огромных, кривых пятнах красного цвета, лужи крови с лежащими посреди них тушами тюленей, кучи из мяса, тюленьих внутренностей и лежащие повсеместно жёлтые пласты снятых шкур, ещё дымящихся, будут приходить к ней во сне теперь постоянно, всю жизнь. Хмурые, деловые лица мужиков, несущих в руках окровавленные ножики, переходящих от туши к туше...

Аня отвернулась от этой чудовищной картины, подошла к ближайшему ледяному ропаку и тяжело на него села, наклонилась. Её рвало на лёд, она никак не могла откашляться.

Подошёл бригадир Зосимов, сел рядом, обнял за плечи.

– Некогда нам с тобой рассиживать, Анна, надо план выполнять. Нельзя колхоз подводить.

И заторопился куда-то, ушёл.

Анна Матвеева встала и пошла работать. У неё не было возможности опустить руки и уйти куда-нибудь от этого страшного места. Дома её ждала семья, находящаяся в беде.

10

Любая поморская девочка, привыкшая к тяготам быта, к суровым условиям жизни на Севере, быстро ко всему принаравливается. На Аню обрушилось так много работы, что ей некогда было лить девичьи слезки. Поначалу она боялась оглядываться по сторонам, страшилась наступить ногой на что-нибудь мягкое и скользкое, но жизнь заставила быстро привыкнуть к новой обстановке. Надо было выполнять план!

Работа у Ани Матвеевой была не сложная, но тяжёлая. Главная хитрость заключалась в том, чтобы среди ропаков и снующих туда-сюда людей выследить, не потерять обелёвщика: рядом с ним шкуры и туши, которые надо было подтащить к общим кучам всей бригады, к кромке льда, где стояло судно. Народу много, а искать своего постоянно перемещающегося обелёвщика некогда: надо было поторапливаться. Выход нашёл бригадир Зосимов. Раздобыли где-то красную материю и нитками закрепили красные полосы на шапках обелёвщиков своей бригады. Теперь их было видно издалека, теперь зосимовская бригада напоминала боевой партизанский отряд.

Аня принаровилась работать с обелёвщиком Леонидом Петровым. Молодой этот ухватистый парень был чем-то вроде автомата. Он со своим шкерочным ножичком подбегал к только что подстреленному тюленю и полосовал его за несколько минут. И как будто не мерзли у него руки и не брала усталость. А лицо Леонида горело под стать красной повязке на шапке – такое же алое. От мороза, от азарта работы и просто от здоровья.

– Аню-ютка! – кричал он всякий раз радостно, когда очередная ноша была готова, и махал обеими руками, и ножик в его правой руке сверкал на солнышке так же радостно.

Видно было, что Аня Матвеева ему нравилась, и она это понимала. Просто понимала, и всё. В своей непростой жизни ей было некогда думать о чём-то постороннем, кроме учёбы, младших братьев и матери, которые нуждались в её помощи. Кроме того, Леонид был уже женат. Совсем недавно он сыграл свадьбу с хорошей деревенской девушкой Зиной Худяковой. Просто ветер у него в голове, у Леонида, не нагулялся он, вот и всё.

Но сейчас была зверобойка, и обелёвщик Петров радовался встречам с Аней Матвеевой и учил её правильно таскать по льду рауков – тюленьи туши и тюленьи шкуры.

– Анечка, крюк надо цеплять сюда. Так волосы на шкуре будут лучше скользить по льду, и тебе будет легче её волочь. Понятно?

– Понятно, понятно, – улыбалась Аня в ответ.

Иногда он распрямлял молодое своё гибкое тело, весело глядел ей в лицо и, видимо, понарошку сокрушённо выговаривал:

– Вот дурак я, дурак! Рано женился, дурак. Надо было мне тебя маленько подождать.

И неясно было, шутит Леонид или нет. Аня смеялась в ответ и старалась поскорее уйти подальше от этих шуточек.

11

На другой же день зверобойки на свидание с Аней с «Лены» удрал четвёртый помощник Плотников. Он обрадовался встрече с ней, подарил свои тёплые рукавицы, обшитые с внешней стороны брезентом.

– Это тебе от меня на долгую память. Носи на здоровье, – сказал, – чтобы больше не замерзала. – Лицо его в крупных веснушках было слегка обожжено весенним солнышком и крепко разругалось.

Аня ему тоже почему-то обрадовалась. И сама не понимала почему. Она до сих пор старалась не обращать внимания на мальчишек и взрослых ребят тоже. Все они казались ей придурками, с которыми и разговаривать-то не о чем. А тут обрадовалась.

– Можно я тебе помогу маленько? – спросил он, сверкая восторженными глазами и поправляя рукава какой-то задрипанной куртки явно не со своего плеча. Аня хотела было поинтересоваться, откуда такая странная одежда, но Михаил вопрос опередил:

– Это я для маскировки надел, чтобы меня капитан не нашёл.

– Можно, конечно, можно, – отвечала Аня, пряча глаза и слегка отворачиваясь. Она хотела скрыть от Миши Плотникова свою радостную улыбку и своё смущение. Такие новые для неё...

Потом они вдвоём таскали по льду шкуры, держась за один крюк. И Миша Плотников о чём-то весёлом болтал. А Аня ему поддакивала. Уже открыто улыбалась, а иногда даже смеялась. Им хорошо работалось вдвоём. Аня в тот день выполнила полторы рабочие нормы.

Капитан судна тем временем потерял своего четвёртого помощника, но быстро нашёл, догадавшись, где он может быть. Капитан взял медный свой мегафон и гаркнул в него в адрес Плотникова такие нужные слова, что того как ветром сдуло из зосимовской бригады.

Всё же, убегая, он попросил Аню выйти вечером на палубу.

И она вышла. И они опять пили с ним чай в кают-компании. И опять долго проболтали.

А когда прощались и стояли на палубе, Аня вдыхала всей грудью морозный морской воздух, вглядывалась в тёмное пространство ледяного поля и невольно думала о том, что в этой холодной темени на снегу ползают беззащитные, одинокие тюлени детёныши – бельки, плачут, как маленькие щенята, и разыскивают своих матерей. И не могут найти, потому что их отняли у них люди.

Такие мысли будоражили теперь и просто терзали её сердце, и она, как и эти маленькие тюленята, была беззащитна перед своими думами, ведь всё это было правдой. Но ей некуда было бежать от этого ледяного поля со множеством убитых тюленей и от своих мыслей тоже.

Однако человек – существо безграничное в своём мировосприятии и в своих чувствах. Теперь, когда Аня видела четвёртого помощника Плотникова, когда разговаривала с ним, в душе её, в самом дальнем её уголке вдруг оживал и начинал шевелиться тёплый комочек, который стал её постоянно согревать. И она стала думать о нём и заботиться, чтобы он не остыл, а чтобы жил в ней, в Ане, всегда жил.

12

Трагедия самки гренландского тюленя – утельги заключается в том, что она ни в коем случае не может бросить своего детеныша. Даже когда ей самой грозит смертельная опасность.

Если на её маленькое дитё посягает посторонний тюлень – неважно, самка это или самец, – она с лютым рёвом бросается на обидчика и терзает его острыми зубами, пока тот не сдастся, не отступит.

Когда к детёнышу или к ней самой подходит человек, утельга до последней минуты будет защищать себя и свое чадо, но не отступит, не убежит к спасительной морской кромке. Самка гренландского тюленя – раба и жертва материнского инстинкта, который люди называют материнской любовью.

В этом и заключается промысел морского зверя на тюленьих лежках. В то время как самец при первых выстрелах промысловиков, при первой же опасности бросает своих самок и детенышей и убегает со льда в море, утельга не может покинуть своего ребёнка. Она остаётся с ним рядом до конца, и поэтому она – лёгкая добыча.

Вот она, простая и неминуемая правда, – среди убитых на зверобойных промыслах гренландских тюленей практически нет самцов. Это всё утельги.

Мясо и сало их спасли в военное время от голодной смерти города Архангельск, Северодвинск и во многом блокадный Ленинград. Тот памятник в центре Архангельска стоит не зря.

Это памятник Утельге.

Это памятник всем тюленьим матерям, погибшим за то, чтобы жили люди. Их были многие сотни тысяч.

Я прошу горожан приходить к памятнику и возлагать к нему цветы.

Утельга это заслужила. Она совершила подвиг материнской верности.

13

Работа на льду продолжалась четверо суток. Это был срок фрахтовки поморскими колхозами транспортного судна «Лена» и ледокола «Капитан Мелехов». На больший срок эти суда не могли оставаться в распоряжении колхозов. У них было ещё много других задач в акватории северных морей.

Вот и промелькнул последний рабочий день. Наступил последний вечер зверобойного промысла. Началась погрузка использовавшегося оборудования, саней, винтовок, топоров, верёвок. Каждый проверял своё хозяйство, всё ли поднято на судно, не забыто ли чего. Стояла суета, которая вечно стоит перед отправкой в дорогу.

Аня проверила всё, и своё, и чужое, она стояла на льду возле трапа, глядела на снующих туда-сюда людей, на огромный корабль. Была тяжёлая работа, но уезжать не хотелось. Здесь останутся её переживания, её успехи в работе, первое в жизни зарождающееся серьёзное чувство.

У каждого члена бригады было плановое задание. Своё она выполнила и перевыполнила. Она знала, что не подвела никого: ни себя, ни бригаду, ни колхоз. Этой осенью ей надо будет уезжать в город на учёбу, и теперь Аня знала, что заработала достаточно денег, чтобы купить для себя обновы, что будет что надеть и она в новой одежде не будет выглядеть хуже других, и что теперь можно будет приобрести новые обувки для братишек, а то ходят в таком рванье. Не зря она съездила на эту зверобойку.

14

Уже под самый конец сборов бригадир Зосимов мимоходом сказал ей:

– Сбегай-ко, Аня, в бригадный урез. Чего-то у меня душа болит, всё ли мы там собрали? В бригадный урез – значит в дальний конец выделенного бригаде участка.

Сказал, а сам аж трясётся весь, зубы у него колотятся. Стукоток стоит такой, что и Ане слышно. Простыл он вчера крепко: пропотел в работе, а потом продрог, так уж получилось, и теперь его всего корежит. Видно, что надо бы ему в тепле побыть да отогреться, а как тут уйдёшь со льда, когда сборы и за всем нужен пригляд.

И Аня побежала.

А Зосимова окликнул с борта «Лены» боцман Новоселов – неунывающий, весёлый, хлопотливый человек, которому до всего есть дело. Он Петра приметил в работе и зауважал.

– Петруша, а чего ты не в себе как будто? Белый весь, и качает тебя. Не прихворнул случаем, Петруша?

Зосимов только махнул рукой и признался:

– Худо мне в самом деле. Простыл вчерась. Скорей бы дело закончить, на ногах еле стою...

– Ты, едри это, чево? Ты геройство своё брось показывать, не удивишь им никого. Один недавно так же выказывал тут, помер на обратном пути в дороге, гортань у него замёрзла вся, не откачали. Так же хочешь?

Боцман, держась за круглую окантовку борта, потоптался, повертел головой туда-сюда, видно, размышлял, отважиться ли ему на решительный шаг, потом всё же отважился, дернул головой и приказал:

– Давай-ко ты, Петя, шагай сюда ко мне. Я тебя лечить сейчас буду, быстро вылечу.

– Да у меня пока тут заботушка есть, всех обрядить бы надо.

– Уже обряжены все. Сам не видишь? Отходим через час. Сборов-то и не осталось уж. Сам на ногах не стоит, а тоже ему надо думать за всех, обряжальщик, едритья.

И он проводил Зосимова в свою каюту. Там заставил выпить стакан едва разбавленного спирта. Считай, без закуски, только кусочек хлеба и дал.

Уставшего, израненного на войне, задёрганного в хлопотах и полуголодного, ослабленного сильной простудой Петра Зосимова от такой дозы крепко развезло. Так сильно, что он спнул мертвецким сном прямо в каюте боцмана.

Через пару часов Новоселов его кое-как разбудил и помог добраться до своей койки в трюме. Боцману ведь тоже надо было отдохнуть в своей каюте после трудового дня.

А Зосимов упал на свою койку и ушёл в болезненное забытие.

15

Разве это расстояние – километр туда да километр обратно? Снега на льду уже почти нет, его выело пусть и не жаркое совсем, но довольно въедливое мартовское солнце. Под ногами плотный и гулкий лёд. Туда-сюда можно обернуться за двадцать минут.

Прибежав к дальней границе участка, Аня обомлела: вдоль всей трехсотметровой кромки моря повсеместно лежали тюленьи шкуры. Туш не было, а вот шкуры лежали. Вероятно, волочильщики, справившись с тушами, просто отвлеклись на другие дела да позабыли, что недокончили свою работу...

Сейчас некогда было рядить, кто прав, кто виноват. Надо было срочно сволочить эти шкуры в одно место, в кучу, и начать переправлять их на судно. А там подключится вся бригада. Нельзя же бросить такое богатство.

Так она решила.

И Аня взялась за дело. В первую очередь пошли в ход шкуры, лежащие подальше. И надо было делать всё быстро, ведь она может задержать отправку судна и подвести не только свою бригаду, но и все колхозы, и само судно, и капитана, такого доброго к ней человека.

Но перетащив бегом по льду первые пять шкур, она поняла, что уже сильно устала. Ладно, ещё надо бы пять, и она отдохнёт. Вот наконец она присела, чтобы хоть немного отдышаться. Но почти сразу вскочила: сколько можно отдыхать, ведь её ждут люди, она всех задерживает! А у корабля всё расписано по часам, его нельзя подводить!

И Аня опять бросилась таскать эти тяжеленные тюленьи шубы с толстым слоем сала каждая. Она волочила, волочила по льду стокилограммовые тяжести, эта деревенская девочка, пока не устала совершенно, пока совсем не выбилась из сил.

И она сказала себе: «Ладно, я чуточку отдохну, совсем чуточку, и пойду звать людей. Только чуточку...»

Силы совсем её оставили, но ведь не на лёд же ложиться. Кое-как, с трудом унимая сильную дрожь в локтях, она подцепила крюком одну из шкур за край, протянула её так, чтобы шкура лежала мехом сверху, и упала на неё. И потеряла сознание.

Она очень устала, ученица седьмого класса Анна Матвеева.

16

Две недели назад, в начале марта, самка гренландского тюленя Утельга родила двоих малышей. Она долго, очень долго – целых одиннадцать с половиной месяцев – готовилась к этому важному для любой матери событию.

Жившие в ней зародыши всё это время купались вместе с ней в водах Карского, Баренцева и Печорского морей, гонялись за косяками сайки, трески, мойвы и сельди около побережий Шпицбергена, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Утельга набирала жир, который потребуется ей для рождения и вскармливания детей, для последующего сразу за этим нового принятия в себя зародыша, для начала очередного этапа материнства длиной в одиннадцать с половиной месяцев.

В начале марта Утельга вместе со своим самцом выбралась из воды на льдину, где уже собиралась колония из множества таких же тюленей. На этом месте вековечно, из года в год, из столетия в столетие живёт, рычит и пищит гигантский родильный дом, продолжающий существование так называемого беломорского стада гренландского тюленя численностью в сотни тысяч голов.

Над родильным домом с февраля по апрель вековечно гремит многоголосый гомон живущего здесь зверя: рев самцов, дерущихся друг с другом, грозный рык самок, защищающих своих детенышей, жалостливое повизгивание тюленят, схожее с плачем щенят, потерявших свою мамку.

Утельга выбрала место для своей лежки в заветерье от северного ветра – под наклоненной глыбой широкого ропака. Она несколько раз переваливалась с боку на бок, приминала снег, чтобы будущий её ребёнок не запутался в рыхлой замяти, не задохнулся.

Ей не пришлось долго ждать своих родов.

Спустя пару часов она уже облизывала мордочки двух сыночков. Их запах совпадал с её собственным запахом, и она узнала бы своих детей среди миллионов других щенков.

Самка гренландского тюленя редко рождает двоих детёнышей. Как правило, рядом с ней только один. Но сейчас их было двое. И как только утельга сорвала с них прозрачные родовые плёночки, сыночки её, одетые в розовые шубки, поползли к ней под брюхо искать молочные соски. Их мамка повернулась на бок, откинула с помехи свои лапы, и щенятки быстро нашли то, что требовалось. Чмокая и урча, они бойко и деловито принялись сосать жирное тюленьё

молоко. А Утельга лежала на боку и жмурила глаза. Самец её лежал поодаль, ревниво поглядывал на свою самку и тревожно порывивал во все стороны. Наверное, он остерегался, чтобы другие самцы не напали и не разрушили его семью.

Детёныши росли быстро. Утроенные жизненные силы им дает необычайно жирное и питательное тюленьё молоко. Уже вскоре с трудом ползающие «зеленцы» превратились в крепенькие белоснежные тугие бочоночки – бельков, которые начали заводить друг с другом и со своей мамой Утельгой боевые игры.

Дети были совершенно белоснежны, как и подобает всем белькам, но у одного из них над чёрным глазом выделялось серое пятнышко. Как будто на лбу у сыночка темнел ещё один глаз. Утельга своим языком пыталась слизнуть эту тёмную точку. Но точка оставалась там, где и была.

Скоро уже, совсем скоро Утельга, повинувшись древнему инстинкту, должна была покинуть их, своих детей, и начать новую игру со своим самцом. Властная Природа требовала, чтобы она вновь зачала в себе новую жизнь и снова стала матерью.

На льдине рядом с кромкой бесконечно синего моря лежала со своими детёнышами Утельга – самка гренландского тюленя. Выходило над ней солнышко, разгорался и угасал закат, и висел над её головой огромный чёрный небесный купол, утыканный хрусталиками ярких звёздочек.

Трескались где-то льдины, и грохот этот пролетал над её головой, над её бельками, уносился к горизонту и исчезал в морской дали.

Иногда матери надоедало лежать долго без движения, и она отползала от своих щенков, двигалась к находящейся рядом морской кромке. Там она наклоняла голову в воду и соскальзывала со льда в привычную для себя глубину. В погоне за быстрой сайкой она выгибалась уставшее лежать в неподвижности тело, резвилась в родной стихии. Но это не могло продолжаться слишком долго, ведь она была матерью, через короткое время Природа звала её обратно, на лёд, где Утельгу ждали её дети.

Иногда она приносила своим белькам из морских глубин каких-нибудь рыбок и стелила их перед их мордочками. Смотрите, детки мои, каких вкусных селёдок принесла вам ваша мама из морской глубины, – как бы говорила она. Но детки на ту пору ещё не кушали рыбу. Они предпочитали всем деликатесам мамино молочко. С принесённой им рыбой они предпочитали играть и вырывать рыбок друг у друга из пасти.

Наигравшись, детёныши опять сосали материнское молоко и снова лежали с двух сторон у своей матери, прижавшись к тёплым её бокам, слабо при этом похоркивая и посвистывая во сне, то и дело ворочаясь и тихо урча что-то свое, детское.

Утельга лежала на льдине рядом со своими детьми. Она выполняла извечный свой материнский долг.

17

Однажды утром дремлющую с детёнышами Утельгу и лежащего рядом Лысуна – её самца – разбудили звуки выстрелов и гортанно-булькающие, всегда страшные для тюленей голоса людей – их извечных врагов. Её самец рывкнул и, подпрыгивая на сильных лапах, умчался к морской кромке. Раздался громкий всплеск. Это Лысун шлепнулся в воду и исчез в глубине.

Утельга не сдвинулась со своей лёжки. Её приковал ко льду материнский инстинкт, не позволяющий бросать детёныша в момент опасности. Пока её ребёнок-белёк не наберёт достаточный вес, чтобы начать самостоятельную жизнь и самому добывать себе корм, она будет находиться рядом с ним, какая бы угроза над ней ни повисла, пусть даже и угроза гибели.

У Утельги было два детёныша, и, когда пришла к ней смертельная опасность, она их не бросила.

Грохот выстрелов был всё ближе и ближе. И когда человеческие шаги зазвучали совсем близко, Утельга высоко подняла голову. К ней шёл коренастый человек с равнодушным красным лицом. Он нёс в руках какие-то длинные предметы. Утельга поняла, что её детям грозит смертельная опасность. Она приподнялась на лапах и ринулась на врага с оскаленной пастью, со всей материнской решимостью защитить своих детей.

Коренастый человек равнодушно выругался и, почти не целясь, привычно, из-под локтя выстрелил Утельге в голову.

Человек выполнял обычную свою, рутинную работу.

За ним шёл обелёвщик со своим острым, как бритва, ножичком. Для него это была тоже самая обычная тюленья туша, которую надо было разделить на три положенные части. Он уже сбился со счета, которая на сегодняшний день. Кажется, где-то из третьего десятка.

Два маленьких белька лежали поодаль и смотрели на людей чёрными маслинками широко открытых глаз. Всё происходящее было для них добрым и счастливым, как их короткое детство, совсем не ведающее страха.

18

Стояла северная мартовская ночь, морозная и звёздная. Ледокол «Капитан Мелехов» шёл полным ходом курсом на Архангельск. Толстым и упрямым своим корпусом он проламывал смёрзшуюся за холодную ночь шугу, долбил и отгонял прочь с дороги плавающие тут и там льдины. Ледокол расчищал путь транспортному судну «Лена», следующему в кильватере. Транспорт – крупнотоннажный трофейный корабль – был огромен, тяжёл был и груз, лежащий в трюмах, но мощные немецкие дизеля давали хороший ход. И всё шло по графику. В девять часов утра следующего дня «Лена» должна доставить свой груз в порт «Экономия» Архангельского пароходства.

Пассажиры «Лены» – зверобои из поморских деревень – долго не спали. Все обсуждали удачный для всех деревень промысел. Все выполнили плановые задания, и все были довольны, что не подвели свои деревни, что будет прибыль в домах.

Русский мужичок не может без заначки. И вот стали из пестерьков, из мешочков доставаться сокровенные припасы: у кого бражка, у кого невесть что намешанное, но тоже с градусами, а у кого-то припрятана для такого случая золотая бутылочка драгоценной водочки.

– И-и, эх-х! – зазвенели песенки да прибауточки. Народ пережил тяжеленные военные времена. Многие из этих мужичков – раненые да покалеченные, списанные с войны по причине военной негодности, а в основном пожилые все люди, для которых прошёл срок воевать. Но сейчас, на этом судне, их всех объединила удача хорошей добычи. И нет повода, чтобы не гульнуть, не пошуметь на радостях.

А женщины спали. Скажите, кто может быть практичнее русской женщины? Ни в жизни не найдёте! И, если выпадает хоть одна минутка, свободная от детей, мужа или работы, русская женщина вмиг засыпает. И это справедливо, потому что женщина наша непомерно много работает.

19

Аня открыла глаза. Её бил тяжелейший озноб. Всё тело пронизывала ледяная дрожь. Мертвящий холод проник в каждую клеточку тела, лежащего на льду посреди морозной ночи, и тело перестало слушаться её. Тряслись ноги и руки, громкой барабанной дробью стучали зубы. Замёрз язык и холодил рот неподвижной льдинкой.

«Надо двигаться! Я ведь могу умереть! – эта мысль пронзила Аню. – Надо попытаться подняться. Надо встать, встать!»

И она начала подниматься. Но не хватило сил оторвать плечи от лежащей на льду шкуры. Плечи и руки будто были прибиты гвоздями к ледяной корке.

Ей стало страшно.

Потом она постаралась взять себя в руки. Поморская девочка, она слышала сотни историй о том, как люди погибали из-за того, что не смогли совладать со своим страхом в трудных ситуациях, будь то на море, на льду или в лесу. «За свою жизнь надо бороться до конца», – так учил её отец. Так же говаривали опытные люди, бывавшие в разных переделках.

– Со страхом в море не суйся, – судят поморы, – он тебя в глубь и утянет!

Аня полежала, собралась с силами и стала раскачивать, приподнимать плечи ото льда попеременно. Тело стало совсем чужим, и каждое движение давалось ей с великим напряжением всех сил. Затем рывком перевалилась набок и поджала, подтянула к животу колени. Из этого положения ей легче было встать на четвереньки, а потом попытаться поднять и всё тело.

На четвереньки она встала, покачала перед собой трясущиеся руки и поняла, что совсем не чувствует ни ладоней, ни пальцев. Их будто не было совсем. Аня стукнула кистями рук друг о друга, но ничего не почувствовала. Руки стали совсем чужими, будто деревянными.

Но ей надо, во что бы то ни стало надо встать на ноги и начать шагать, чтобы согреться, вобрать в себя тепло и оживить продрогшее тело.

Предприняв невероятные усилия, Анна всё же поднялась на ноги, медленно-медленно распрямила тело. Это трудно ей далось, потому что трясущиеся плечи неборимая сила водила из стороны в сторону.

Она попыталась сделать шаг.

Аня сделала его. Но шагнула она с превеликим трудом, потому что ноги её совсем не слушались. На них невозможно было удержать равновесие. Качаясь из стороны в сторону, она сделала два шага по окровавленному ледяному полю, но не устояла и упала набок, сильно ударившись плечом и головой о лёд. Впала на секунду в забытье, немного полежала, но скоро взяла себя в руки. Она осознала, что здесь, на голом льду, оставаться надолго нельзя, что тут она замёрзнет очень быстро. Тогда, собрав остаток сил, Аня поднялась на колени и, опираясь на трясущиеся, непослушные руки, кое-как доползла до спасительной шкуры. Встала на коленях на её край, потом повалилась набок и, наконец, тяжело перевалилась на спину. Аня понимала: так она сохранит в своём теле хоть на чуточку, но всё же больше тепла.

И ещё она поняла, что этой своей попыткой встать на ноги она потеряла последние силы.

Тело её не двигалось, только судорожно тряслось от мертвящего холода. Одежда, мокрая от изнурительной работы, лежала на ней мёрзлой коркой и совсем не согревала. Ноги были обуты в бахилки, совсем новые, старательно смастерённые дедушкой Ильей из хорошей кожи. Но и они за прошедший в бегодне по сырому льду день тоже насквозь промокли и промёрзли и сейчас стягивали ноги, как тяжеленные колоды.

Она поняла, что нигде рядом нет людей, что она одна.

Никто за ней не пришёл, даже бригадир, который её сюда направил. Наверное, что-то случилось... Не могли же её бросить односельчане, хорошие все люди. Что-то случилось.

Кругом только ночь, мертвящие сполохи холодного северного сияния и ещё мороз, сковавший тело. И одиночество посреди жуткого мерцающего света.

Её клонило ко сну. Аня подумала: «Я, наверное, сейчас умру». Живущая на севере, она уже много раз слышала, что людей, умирающих от холода, тянет ко сну.

Она лежала лицом вверх с трясущимся от страшного холода телом и глядела на звёзды. Раньше она любила их разглядывать. Она знала, где Малая и Большая Медведицы, где Полярная звезда.

Сейчас Полярная звезда висела прямо над ней и мерцала ярким, равнодушным, мертвящим светом.

Аня Матвеева в самом деле умирала, и маленькому беззащитному её сердцу оставалось стучать совсем недолго.

20

Четвёртый помощник капитана Михаил Плотников спустился в пассажирский трюм и с растерянными глазами начал шарить между коек. Он не дождался на палубе человека, с которым уже привык проводить вечера, – Аню Матвееву, потерял терпение, заволновался и начал её искать. Он не мог поверить, что девушка, которая так ему понравилась и которой он вроде бы тоже стал небезразличен, вдруг просто так, без объяснения причин, не захотела с ним знаться. Ведь он не дал для такого отношения никакого повода.

Он уже знал, где расположена койка Ани, но, к своему изумлению, самой её там не обнаружил.

В голову, само собой, пролезли всякие глупые мысли: где она и с кем? Но Плотников их решительно отвергнул.

И стал орать:

– Эй, вы что тут, обалдели все! Где Анна Матвеева из колхоза «Промысловик?»

Люди стали просыпаться и недовольничать. А обелевщица Парасья Житникова, крепкая и грузноватая женщина, с которой Михаил уже успел познакомиться, села на койку в длинной толстой сорочке, потрясла головой, чтобы стряхнуть сон, и пробурчала:

– Капитан, ты чё тут орешь? Людей будишь.

– Публика, вы чего, охренели? Где Анна Матвеева из вашей бригады? – с искажённым лицом продолжал голосить Плотников.

– Как это где? – Парасья начала просыпаться. – Она с тобой должна быть. Болтаете вы с ей допоздна каждый вечер, знамо дело.

– Вот я здесь, перед вами. А где Анна?

Проснулись все.

В самом деле, где она, Анна? Где? Народ заволновался.

– Да где она может быть? С нами же была. Все её видели, с нами была.

– Когда была?

И вот на этот вопрос толком не ответил никто. Все вдруг осознали: последний раз видели её на льду.

Бригадира Зосимова пришлось долго расталкивать. Он сидел, тряс головой и наконец вспомнил:

– Дак я же посылал её на край участка проверить, не осталось ли там чего неприбранного.

Он округлил глаза, перекошенное, израненное лицо его задргало в нервном тике. В глазах вспыхнул ужас.

– Разве она не вернулась?

И склонил резко голову. Плечи его скукожились, руками он схватился за столешницу, пальцы затряслись... Потом он схватил штаны, начал совать ногу в штанину, никак не мог попасть.

21

Охваченная тяжёлым, мертвящим сном Аня едва почувствовала, как в левый бок её ткнулось что-то мягкое и тяжёленькое, прижалось к ней и стало потихоньку греть.

Потом она с трудом, как в тяжёлом беспробудном сне, расслышала постанывания и всхлипывания. Так плачет проголодавшийся грудной ребёнок, тянущийся к маминой груди. Этот кто-то прижимался к ней всем тельцем и как будто искал ласки и еды. От тельца веяло слабым, но глубоким теплом.

«Наверно, это мне так блазнится, – подумалось ей среди тяжёлой полудремы, – но это значит, что я ещё жива?»

Ане захотелось повернуться к нему и понять: кто это? Но тело её не слушалось.

И вот надо же! С другого её, правого бока тоже прильнуло что-то такое же плотное и упругое и тоже стало потихоньку согревать. До этого она боялась уснуть, боялась, что никогда больше не проснётся. Теперь же, пусть и совсем немножко, но всё же обогретая неизвестными живыми созданиями, она уснула, уже не опасаясь умереть во сне.

22

Ночью к ней пришёл её отец Фёдор Севириянович Матвеев. Пришёл из ночного мрака со стороны моря. Он был без шапки, в линялой гимнастёрке, и ветер пошевеливал седые его волосы. Шёл к ней и шаркал о лёд каблуками кирзовых сапог. И это гулкое шарканье разносилось далеко над ледяным полем. Он подошел к дочери совсем близко, и от него повеяло бесконечно близким с детства, бесконечно родным отцовским запахом. В нём было намешано так много памятно-домашнего, что у Ани перехватило дыхание. И аромат дома, и сенокоса, и запахи морских водорослей, и всей деревни, и ароматный дух отцовских густых волос, в которые маленькая Аня любила прятать своё лицо, и многое другое родное, связанное с её детской беззаботной жизнью, когда все были дома, были здоровы и когда не было войны.

Он сел на колени совсем рядом с ней, сел прямо на лёд. На груди его висела медаль, а рядом с медалью виднелась дырочка, отчётливо сквозная, через которую Аня видела далекую маленькую звёздочку, мерцающую на небе за отцовской спиной.

– Почему ты седой, папа? У тебя ведь были такие красивые чёрные волосы.

– Бой был тяжёлый очень. Я в нём поседел. Людей много погибло.

– Зачем ты стоишь на коленях на льду? Ты ведь простудишь ноги! И без шапки! Ты же можешь заболеть.

– Доченька моя, тебе тяжело сейчас, но я с тобой. Я всё время с тобой, хочу, чтобы ты это знала.

Аня хотела протянуть руку к его лицу, но рука была непомерно тяжела.

– Мне не холодно, мне хорошо с тобой, доченька. Я попрошу, чтобы ты не умерла сейчас. Ты должна жить, чтобы выжили мои сыночки, твои братики, чтобы мама наша поправилась. Ты за меня в семье осталась, всё на тебе. Думаю, меня послушают, я ведь погиб за матушку нашу, за Россию.

Он поклонился своей дочери низко-низко, коснулся лбом льда и словно растворился в воздухе.

Сквозь мрак ледяного сна услышала Аня, как её зовет к себе родная деревня. Послышался ей перезвон весенних сосулек, свесившихся с летнего ската крыши, теньканье прозрачных капелек, падающих с них.

Ей промычала Зорька, любимая семейная корова, которая стоит в хлеву и ждёт не дождется прихода настоящего тепла. Поднадоело Зорьке коротать длинную северную зиму в тесном стойле. Аня узнала её призывное мычание.

Горланисто и отчётливо звонко пропели для Ани крикливые свои песни деревенские петухи. Разбудили, наверное, всю деревню. Их голоса тоже давно знакомы Ане.

Она услышала лай соседского пса Буянка, своего любимца. Буянко, когда видит Аню, открыто ей радуется, весело взлаивает, растягивает в улыбке свою клыкастую пасть и несёт ей изгрызенную до невозможности, но всегда одну и ту же палку и требует, чтобы Аня с ним поиграла. Та игру поддерживает и старается вырвать палку из Буянской пасти. Пес старается тоже. Он страшно и люто рычит, будто жутко злится на Аню, вертит рыжей своей башкой и делает вид, что хочет палку отнять. Так они играют. Сейчас Буянко очень ждёт Аню. Ждёт и зовёт.

Ждёт её и скворец, который каждый год селится в скворечнике, выструганном отцом и установленном на вершине телеграфного столба прямо напротив их крыльца. Анин отец, взгромоздив скворечник на столб в конце зимы, никак не мог дожидаться, когда же прилетит скворец. Нервничал: к тому прилетели, к этому тоже, а у нас никто не селится.

Однажды утром отец разбудил Аню, крадучись подошёл вместе с ней к окошку и заворожённо громко прошептал:

– Гляди-ко, Анютка, гляди!

Прямо на крыше скворечника, выгнув в сказочной позе кверху голову, широко раскрыв клюв, растопырив крылья, щебетал дивные песни наконец-то прилетевший скворец. Аня помнит, как они с отцом сидели у окошка, ошеломленные, восторженные, радостные...

Сейчас до Ани вновь донеслась весенняя, зовущая её домой песня того самого их с отцом скворца.

Где-то на краю деревни стучит и стучит топор. Это рубит баню вернувшийся домой без ноги Ефим Федотов, сорокалетний деревенский конюх. И стукоток этот доносится досюда, до этой холодной льдины.

А на самом морском берегу, на ледяной корке, у воды стоят трое: её мама Наталья Александровна и братишки Сашка с Серёжкой. Они внимательно и пристально всматриваются в морскую даль и кричат в сумрачный, далёкий простор, в голомень что-то родное и нежное. Аня не может разобрать их слова, но она понимает: они зовут её домой.

23

Капитан «Лены» был опытным моряком. Когда судно было на переходе, он никогда не уходил в свою каюту, а спал прямо в капитанской рубке. Вот и сейчас второй его помощник был у штурвала и вёл корабль по Белому морю. Курс – Архангельск. А капитан отдыхал на топчане, как здесь недавно ночевала Анна Матвеева.

И тут в капитанскую рубку ворвались двое совершенно ошеломлённых чем-то людей. А конкретно четвёртый штурман Михаил Плотников и какой-то взвинченный, косноязыкий мужик, как потом оказалось, колхозный бригадир Петр Зосимов.

– Человека бросили! – заорали они благим матом. – Человек на льду остался!

Капитан давно не просыпался в таком кошмаре. На него таращились два взбешённых, потерявших нормы приличия субъекта. Они стояли перед ним, ещё не проснувшись, и выкрикивали какие-то неслыханные в своей несуразности и невозможности слова.

– Мы человека бросили! Скорее всего, она уже погибла!

И что-то ещё, совершенно не укладывающееся в голове. Впрочем, такие слова в основном выкрикивал его помощник Плотников. Хороший парень, но тут прямо паникёр какой-то.

Капитан сидел на топчане в кальсонах и в белой рубахе и совершенно ничего не мог понять. Наконец он проснулся и сказал насколько мог спокойно:

– Миша, ты помолчи, прошу тебя.

И приказал Зосимову:

– А ты говори.

Зосимов с заплетающимся языком, как мог членораздельно, сказал, что на месте промысла случайно осталась член их бригады Анна Матвеева.

Капитан ничего не понимал:

– Как это случайно? Это можно молоток случайно забыть или там плоскогубцы, а тут человек.

– Бросили мы её, бросили, вот и всё! Погибает она там одна, мороз там! Девчонка же! – вопил Плотников.

Капитан вспомнил её.

– Это та Матвеева, которая чай у нас пила?

– Та самая, та самая, – орал помощник, – спасти её надо, срочно спасти! Возвращаться надо.

– Информация проверена? – спросил капитан, натягивая на кальсоны форменные брюки. – Тут нет никакой ошибки, товарищи?

– Да какая тут ошибка, человек погибает! Одна на льду, мороз, вы это понимаете? – продолжал кричать четвёртый помощник.

– Витя, стоп машина! – твёрдо сказал капитан старшему помощнику, стоящему у штурвала. – И вызови мне по рации «Мелехова».

Радиосовещание между капитанами транспортного судна «Лена» и ледокола «Капитан Мелехов» состоялось на траверзе поморской деревни Летний Наволок. Было решено «Мелехова» отправить обратно на поиски Анны Матвеевой. С этой целью на борт ледокола был пересяжен бригадир зверобоев Петр Зосимов. А транспорт «Лена» со своим ценным грузом продолжил путь в Архангельск.

Четвёртый штурман «Лены» Михаил Плотников всеми силами тоже рвался пересесть на «Капитана Мелехова». Его с трудом удержали. И, наклонившись через борт транспорта, он кричал вслед уходящему ледоколу:

– Передайте Ане, что я её жду! Жду я её!

Но ветер, волны и шуршание льда о борта судна заглушали его крик.

А уплывающий обратно отставной сержант, а ныне бригадир Петр Зосимов знал, что нельзя ему возвращаться в деревню без живой Ани Матвеевой, что деревня не простит ему, если с ней случится что-нибудь плохое. Он ведь старший, а это значит, что отвечает за всё.

24

Медленно вылезавшее из-за моря, из-за дальних льдов солнце, приподнявшись над горизонтом, из огромной своей полости вылило жёлто-красную краску на белый ледяной простор, на торосы.

Краска эта залила всё бескрайнее синее морское пространство и белое безмолвие, бесконечно раскинувшееся вдоль побережья. И на схваченной ночным и утренним крепким морозом ледяной поверхности образовались миллиарды похожих на снежинки хрусталиков. Разбросанные на льду, они выстреливали в воздух, в пространство яркие разноцветные брызги солнечных лучиков. И лёд на многие километры был похож на сказочно роскошный, тончайшей работы дивный ковёр, усыпанный драгоценными камнями.

Аня открыла глаза. Первая пришедшая мысль была: «Я всё ещё жива».

Всё тело было деревянным и почти не двигалось. Очень болели ступни и пальцы ног, страшно ныли колени, стали ледяными ладони. Гортань будто залило свинцом.

Она понимала: её спасало то, что она лежала на тюленьей шкуре, которая не пропускает холод, идущий ото льда. Кроме того, по бокам к ней прижались и отдавали ей своё тепло какие-то живые существа.

Кто же это?

Аня с большим трудом повернула голову налево и обомлела: к ней прижался и, закрыв глаза, посапывал маленький тюленёнок. Он был совершенно белый. Значит, возраст его около двух недель, подумала она. Это белёк. Скоро детёныш гренландского тюленя начнет покрываться серыми пятнами и станет именоваться хохлушей.

А что же присоседилось с другой стороны? Ане тяжело дался поворот головы на правую сторону – шея, перехваченная морозом, совсем не слушалась. Справа, тесно к ней прижавшись, спал богатырским сном другой тюленёнок. Только не совсем белый. Этот уже начал свою перекраску: на его лбу выше глаза серело маленькое серое пятнышко.

Она поняла, что в кромешной темени они приняли её за свою маму, прильнули к ней и укрылись под её надежной защитой.

Аня совсем не знала, да и не могла знать, что шкура, на которой она лежала, была шкурой матери этих тюленят – Утельги. И что бельки пришли сюда на запах своей матери.

Она хотела сказать им что-нибудь ласковое, ободряющее, но горло её замёрзло. И рот, и губы тоже не двигались. Тогда она стала говорить с ними. Беззвучно, про себя.

– Я теперь буду вашей мамой, дорогие мои дети, – говорила она, глядя полузамёрзшими глазами в небо. – Во-первых, спасибо вам за то, что вы спасли мне жизнь. Я теперь буду вам благодарна всегда. Во-вторых, как любящая мама, я обязана дать вам имена. Ты, беленький, получишь красивое имя и будешь называться Беляком, – тут она маленько подумала, – а ты, с пятнышком, получишь не менее красивое имя. Ты теперь будешь Пятнышком. Согласны, дети мои? Ну чего вы сразу загалдели, заперебивали друг дружку? Вижу, что согласны. Вот и хорошо, вот и молодцы.

Аня попробовала пошевелить ногами. Ничего у неё не получилось.

– А теперь, в-третьих, – продолжила она разговор со своими малыши детками, – вы должны твёрдо знать, что я, ваша мама, никогда не дам вас в обиду. Я же вас люблю, как же я могу допустить, чтобы моих деток кто-то обижал...

Солнце приподнялось над горизонтом и обдало природу слабеньким, еле различимым теплом. Но уже лёгкое дуновение мартовского северного солнца вызвало испарину схваченной ночным морозом ледяной поверхности, и над белым пространством повис холодный искрящийся туман. Воздух от этого стал ещё более промозглым.

– Знаете, дети мои, чего я хотела бы больше всего на свете? – беззвучно разговаривала с Беляком и Пятнышком Аня. – Я очень хочу, чтобы выздоровела моя мама. Чтобы она играла опять со мной, пела своим замечательным голосом песни, чтобы ходила со мной в лес. А она только слабеет и слабеет. Это меня очень беспокоит, дети мои.

Из глаз её вытекли слёзы, но она их не вытерла со щёк, потому что не смогла поднять одеревеневшие руки. И слёзы хрустальными стеклышками застыли на её щёках.

Тюленёнок, который был слева, зашевелился, и Аня с трудом повернула голову на своего Беляка. Тот лежал, держа мордочку у неё под мышкой, и глядел на её лицо немигающими чёрными глазами, похожими на чёрные маслины.

– Ну вот, сыночек мой Беляк, ты проснулся и слушаешь мамин рассказ. Наверно, Пятнышко тоже не спит. Тогда не перебивайте меня и сидите тихо. А я буду с вами разговаривать.

Еще я очень хочу, чтобы поскорее подросли мои братья. Они совсем меня не слушают, даже маму нашу слушают не всегда. Нам с ними трудно справляться. Уж скорее бы они стали серьёзными. А вы, сыночки мои, что на это скажете?

Аня попробовала пошевелить пальцами рук. И не поняла, получилось у неё это или нет, потому что пальцев она не чувствовала. В её ладонях, как и в ступнях ног, стояла неизменно-тяжелая боль.

И ещё были вопросы, которые совсем недавно стали её сильно волновать. Совсем беззвучно, не шевеля ни губами, ни языком, она высказывала своим детям наболевшие эти вопросы:

– Серьёзно ли относится ко мне Михаил Плотников? Не шалопут ли он какой-нибудь, не бабник ли? Я так боюсь в нём ошибиться... Нравлюсь ли я ему? Или это всё шуточки для него? В фуражечку вырядился, видите ли.

А он, сыночки мои, мне нравится, даже очень. А может быть, и больше того. Волнуюсь я и почему-то тревожусь. Не было со мной такого никогда.

А дети её, Беляк и Пятнышко, ворочались у нее с двух сторон, прижимались к ней, хлопали своими черными глазками и что-то там попискивали, словно щенята рядом со своей мамкой.

Совсем закоченевшая Аня Матвеева не сомневалась, что люди к ней вернуться, что её найдут. Ещё ей хотелось, чтобы за ней пришёл, чтобы нашёл её четвёртый помощник капитана Михаил Плотников. В своей фуражечке.

25

Она с трудом сдерживала смыкающиеся веки, но ей нельзя было спать, это она хорошо понимала.

Мысли её вдруг ушли к Тому, Кого всё чаще и чаще вспоминала её мама. Она обращалась к нему обычно по ночам, когда все спали, и шёпотом называла его то Господи, то Боженька. Мать упрасивала его пожалеть её доченьку и её сыночков. Просила, чтобы вернулся с войны муж, хотя на него пришла уже похоронка. «Но Ты верни его мне, верни, Господи, ведь я люблю его очень. Не нагладелась я на него, не надышалась. Хоть и прожили с ним изрядно, а всё как один день. Не хватило мне... Да и семье-то как без отца, без кормильца? Не выжить ведь нам без него».

Ещё она просила продлить ей хоть ненадолго жизнь. «Знаю я, – шептала она в ночную тишину, – что умру я скоро, лихоманка у меня неминуемая, съела меня совсем, но Ты, Боженька, продли хоть на годик-другой денечки мои. Надо мне ребятишек своих поднять. Малы ведь совсем да глупы. Не в приют же их отдавать. А Анечке моей надо учиться. Она умница у меня, в школе успевает на отлично. Но ведь избилась она совсем в трудах немилосердных. Девчонка ещё малая, подросток, а работает больше всех. Не надорваться бы ей. Помогите нам, Господи, помогите и помилуй».

И мама тихо плакала в подушку.

И Аня тоже плакала. Ей было нестерпимо жалко свою маму.

Сейчас, первый раз в своей жизни, она тоже стала думать о Боге.

«Я тебя совсем не знаю, Боженька, и не могу разобраться точно, есть Ты или нет на белом свете. Я ведь комсомолка, а наш комсомол не верит в Тебя. Но в Тебя верит моя мама, а ей я доверяю больше всех на свете».

Потом она подумала и белыми беззвучными губами сказала Богу со всей решимостью:

– Теперь я тоже буду жить с верой в Тебя, как моя мама. Так мне легче будет жить, я это точно знаю.

Аня попробовала пошевелиться. Движения не получилось. Тело совсем её не слушалось. Только с боков её подталкивали, пошевеливали её тельце и отдавали часть своего тепла два живых существа, её сыночки Беляк и Пятнышко.

«Я прошу Тебя, Боженька, выручи меня, помоги мне. Мне совсем не хочется умирать. Рано ведь еще. Я в жизни ничего не видела. Пусть за мной придут».

Силы совсем оставили её. Она обратила к Боженьке последнюю свою мысль:

«И помоги сыночкам моим Беляку и Пятнышку. Они ведь тоже остались без матери».

И потеряла сознание.

Было десять часов восемнадцать минут утра. Стояло 15 марта 1945 года. Ледокол «Капитан Мелехов» причалил к ледовой кромке как раз в том месте, откуда вчера отходило транспортное судно «Лена». Бригадир зверобойной команды Петр Зосимов сам выбросил за борт и закрепил деревянный слип. Он буквально сбежал с трапа и быстрым шагом вперемежку с трусцой посеменил туда, куда вчера ушла отправленная им Анна Матвеева. За ним поспевал один из матросов ледокола, Шостак, выделенный ему в помощь боцманом.

Зосимов торопился и изнывал от своей малой скорости. Но быстрее двигаться он не мог – мешала одышка. Дышать полной грудью не давало пробитое осколком лёгкое. Он страшно клял себя: как же, как же потерял он Аню? Недоглядел, вернулась ли она, зашла ли на борт. Сам послал, а не проверил, пришёл ли человек обратно. Конечно, оправдание имеется: спешка, погрузка, суета, простуда эта... А он главный. За всем и за всеми разве уследишь? Заботушки в такие минуты много. Но ведь сам же отправил девчонку! Сам! И фактически оставил её одну. Считай, что бросил.

И когда шли на ледоколе, и сейчас его терзала, разворачивала ему душу ещё одна зло-вредная мысль: что бы сказал ему в эту вот минуту Федор Матвеев, мастеровой мужик, уважаемый в колхозе человек, который ещё в предвоенные годы учил его рыбодобыче и зверобойке и который лежит где-то в карельской земле? Отец Анны. Ничего хорошего он не сказал бы, а может быть, и рожу ему набил. И правильно бы сделал.

... Аня лежала на тюленьей шкуре неподвижная, с мертвенно-белым лицом и, показалось Зосимову, бездыханная.

Он рванулся к ней, прильнул к лицу, ко рту: дышит или нет? Нет, дыхания не слышно. Не дышит! Сердце тоже молчало. Эх ты, беда! Он понимал, он знал, что у умирающего на морозе человека дыхание как бы замирает, его трудно обнаружить, даже если человек ещё дышит. И тогда он стал перед её лицом на колени и сбоку уставился на едва открытый рот. Должен быть парок, если человек дышит.

Ничего не видно.

Зосимов замер, распахнул широко глаза, взгляделся в белые губы, в тёмную извилинку между ними. Ему показалось, что в какое-то мгновение между Аниных губ промелькнула полупрозрачная, тоненькая, невесомая полоска морозного пара.

Может, и показалось, но в ожесточенно стучащем от волнения сердце его родилась крохотная нотка надежды, родилась и подала свой слабенький, но радостный голосочек. Она зазвучала, эта нотка.

И Зосимов скинул рукавицы, стал тёплыми ладонями растирать лицо Ани, её руки, ноги, тело.

– Жива ты, Аня, жива! Теперь не умрёшь! Мы тебя выправим! Оживай, девочка, оживай! Ишь, помирать удумала! Рано тебе помирать! Ты сперва внучат нарожай Фёдору.

Он не говорил, а кричал. Наверное, подспудно ему казалось, что его крик может разбудить Анну Матвееву, отринуть от навалившегося непомерно тяжёлого сна.

Он чего-то ещё выговаривал, кричал, растирая Анино тельце. Пока его умоляющий вопль не разбил болезненные препоны, загородившие её от живого мира, пока она в самом деле не услышала его спасительный крик и не открыла с трудом веки.

Только после этого обессиленный Зосимов перевалился набок и зашёлся в судорожном кашле. Из рта выплескивались маленькие капельки крови.

– Ничего, – хрипел он, – это лёгкое хандрит, едри его корень, пройдёт оно, ничего.

Только теперь разглядел он, что его каблук на сапоге пытается в клочья разорвать белый маленький тюлененок. Справиться с каблуком у него не хватало силенок, но он урчал, посвистывал и крепко с ним воевал.

– Ну ты, брат, даёшь, – сказал бригадир, отталкивая тюленёнка другой ногой, – чем же я тебе насолил?

Со вторым тюленёнком, что был на другой стороне от лежащей на льду Ани, воевал матрос Шостак. Белоснежный малыш напал на него и старался цапнуть за ногу.

– Эх, жалко, я багра не взял, – возмутился тот, – сейчас бы тюкнул, да и всёё.

– Не трогай их, – прохрипел ему Зосимов, – видишь, они нашу девочку обороняют. Они, наверно, спали рядом с ней, за мамку приняли. А тут мы пришлёпали. Вот они и гонят нас от своей мамки.

– Такие клопы, а туда же, нападать, – возмутился и весело шумел Шостак и кое-как всё же отодвинул тюленят в сторонку. Те сидели теперь в трех метрах от людей, помаргивали чёрными круглыми глазками, хоркали и посвистывали. Наверно, они возмущались человеческим нашествием на их обжитую территорию.

Аня лежала, открыв глаза, и молчала. Теперь её оттирал Шостак. Наконец она тяжело повернула голову к Петру Зосимову и едва различимо ему улыбнулась.

– Ну, всё, – расплылся в радости бригадир, – стала улыбаться – теперь не помрёт. Давай, матрос, понесём её на судно.

Они ушли и унесли на руках Аню. А ее сыночки Беляк и Пятнышко сидели рядышком и глядели им вслед.

И эта мама от них ушла.

27

Аня пролежала в больнице долго – целый месяц. С трудом восстанавливались сильно обмороженное лицо, руки, ноги, тяжело залечивалось сильнейшее двухстороннее воспаление лёгких.

Но какую хворь не одолеет юный крепкий организм?

И вот она, с перевязанными руками и ногами, уже выходит из палаты, прохаживается по больничным коридорам, воркует с нянечками и медсестрами.

Её тут все уже знают, все именуют её с ласковым уважением – Анечкой. Всем известно и об Анечкиных страшных приключениях. Все хотят с ней поговорить, познакомиться. И она – добрая душа – общается с людьми с открытым сердцем.

В крепких её снах возникают перед ней картины страшной той ночи. И в укутанные бинтами её ноги ложатся два белых ангелочка с чёрными глазками, её сыночки Беляк и Пятнышко. Они снова прижимаются к ней тёплыми бочками, от этого и ногам её, и телу становится тепло-тепло. Аня давно уже знает, что ангелочков этих послал ей Тот, к Кому она обращалась за помощью, к Кому обращался и её отец. Она знает, что помощь Его спасла ее.

А кисти рук, получившие сильнейшие обморожения, спасли от ампутации тёплые варежки, подаренные четвёртым помощником капитана транспортного судна «Лена» Михаилом Плотниковым. Об этом ей сказали врачи. Уже три раза прибегал к ней в больницу и он сам.

У судна «Лена», как и у любого задействованного в каботажных перевозках, короткие рейсы: снабжение поморских деревень и воинских частей всем необходимым, доставка и выброска геологических партий, перевозка грузов и специалистов на Новую Землю и в другие точки Белого и Баренцева морей, да мало ли чего ещё потребуют нужды народного хозяйства. А возвращение – всегда в родной город, в порт приписки Архангельск. Этого возвращения Михаил с некоторых пор ждёт особенно...

Когда он встречает Аню Матвееву, у всех возникает ощущение, что не может Михаил насытиться самим её присутствием, тем, что она рядом. И люди всегда радуются его приходу, потому что этот парень всегда приносит с собой откровенный праздник любви. Скажите, кто не рад такому празднику?

Аня тоже его всегда ждёт, очень ждёт.

День выписки из больницы счастливо совпал с приходом «Лены» в родной порт.

Плотников ворвался в больницу с букетом гвоздик, возбуждённый и счастливый оттого, что не опоздал. Аня ждала его в вестибюле. Сидела и ждала неизвестно чего и была уверена: он придёт. И он пришёл!

Потом они долго-долго, до самой ночи просидели у маминой тети, Павлы Андреевны, живущей в Соломбале, говорили-говорили и не могли наговориться.

Мише нельзя было опаздывать на вахту, и он умчался на своё судно. Аня на другое утро уехала в свою деревню.

Перед тем как расстаться, они обещали писать друг другу письма, и обещание свое сдержали. И подружились крепко-крепко.

На всю жизнь.

Сваня

Феофан вышел из дому рано. Солнце только-только привзнялось багровым диском на горизонте и ещё не успело подогреть утреннюю стылость. Но надо было поспешить: охота – дело кропотливое, неожиданное, неизвестно, что может задержать, а по хозяйству дел невпроворот, за выходные надо многое успеть.

Когда вышел за околицу и поднялся на угор, остановился, присел на бугорок, закурил.

На траве, подсвеченной солнцем, посверкивали красные искорки инея. Посреди озера Среднего, что раскинулось сразу за угором, плавало длинное облако тумана, похожее на белый рваный дым. Сквозь его просветы тускло просвечивали бесформенные очертания маленького островка с двумя растущими на нём корявыми соснами. Островок казался отсюда, с угора, парходом, севшим на мель и оттого чрезмерно и надсадно дымящим.

По бокам дорожки, что вела вниз, к озеру, росли редкие и низкие осины. Ветер да холод раздели их донага. Но у каждой кое-где висели на концах веток кучки огненно-красных листьев. Осины долго сопротивляются морозам. Уже совсем засыпая, уже заметённые снегом, они сжимают в своих руках-ветках эти красные лоскутья как доказательства своей стойкости и верности жизни. Стылый воздух был прозрачен и безмолвен, только будто позванивал слабо и тонко неизвестно в какой стороне.

– Красота, надо же! – сказал Феофан сам себе с невольным восхищением. – Жалко, зараза эта не видит.

Заразой он называл Зинку, свою жену. Та ушла от него этой весной, и Феофан теперь, когда восхищался чем-то или же, наоборот, горевал, всегда жалел, что Зинки не было рядом. Она умела и восхищаться, и горевать, и Феофану это нравилось.

Он отбросил папиросу, поднял ружьё, лежащее на коленях, поставил его прикладом на землю, вздохнул, поднялся. Но перед тем, как тронуться, невольно ещё раз прислушался к распростёртому над землёй утру.

Ему показалось, что висящий где-то в воздухе звон усилился. Феофан стянул с головы кепку, замер, прислушиваясь, даже приоткрыл рот. Долго вглядывался в северный горизонт, откуда доносился звук.

Наконец увидел.

Далеко, над голыми полями, на белесом крае утреннего неба, обозначился пунктир тёмных крохотных точек. Там летела стая каких-то крупных птиц.

«Клин-н, клин-н, клин-н!» – звенели в воздухе гулкие серебряные колокола их прощальной песни.

Всякий раз, когда улетали на юг птицы и оглашали землю своими криками, Феофану казалось, что они осыпали землю печалью и вестью о том, что по их караванным следам летит с северных широт зима. Душа его в такие минуты наливалась неизбывной тоской, звучала в унисон с колокольными песнями птичьих стай, рвалась улететь куда-то вместе с ними.

Вот и полетели опять... Лебеди...

Над острозубыми ёлками, утыкавшими холмы окрестных лесов, в холодном голубоватом небе летели большие белые птицы.

Они казались розовыми, потому что на них пролило краску своих лучей бледноватое солнце раннего сонного осеннего утра, потихоньку наползающего на землю с восточной стороны.

На обход всех капканов потребовалось часа полтора. Попало четыре ондатры. Негусто, конечно, всё же установлено восемнадцать капканов на верных местах – все в жилых, посеща-

емых ондатрами норах. Но осталось взять не так уж много, двенадцать. Это из предписанных ему сорока штук. (Летом Феофан заключил такой договор с архангельской заготконторой.)

У последнего капкана он зашёл на бугорок, привычно сел на давно облюбованную кокорину, достал нож и снял с ондатр шкурки, сунул их в целлофановый мешок, положил в рюкзак.

Тушки тоже забрал: зимой пригодятся для приманки, когда настанет пора ловить куниц.

Феофан был удачливым охотником. Он не сам так считал, так считала деревня, и не кичился он этим, было приятно, что получается это у него, может быть, маленько получше, чём у других. Кое-кто расспрашивал: что да как, в чем секрет? Да кто его знает, в чем он, его секрет! Феофан не ведал об этом сам, просто он долго наблюдал лесную жизнь, всматривался в неё, изучал её книгу. Вон перед прошлой весной взял в капкан росомаху. Кто может этим похвастать? Да никто. Ну, может быть, мало кто, очень мало. Росомаха – зверь хитрющий.

Обратный путь с Долгого озера, на котором стояли капканы, до Среднего он шёл по речке, которая их и соединяет. Расстояние короткое – метров восемьсот, но осенью в тенистых её омутах, спрятавшихся меж высоких берегов, поросших ивняком, неизменно жили утки. В эту пору большинство их подалось на юг, но то запоздалый какой селезень, то подранок, то утиная пара, не накопившая, видно, жира для длинного перелёта, подолгу засиживалась на этой укромной речке, и Феофан всё время шёл с двухстволкой наизготовку. Но утки куда-то попрятались. В одном месте только выпорхнул чирок, короткой свечкой подпрыгнул над водой и сразу скрылся за кустами.

Феофан выстрелить не успел. Так и подошёл к Среднему, не запачкав, как говорится, ствол, не утолив азарта.

И всё же испытать несколько острых мгновений ему довелось.

С дугообразной полосы песка, намытой рекой на самом устье, неожиданно выросшей из-за прибрежного невысокого обрыва, в озеро плюхнулись и тяжело заколотили крыльями по воде грузные серо-белые птицы. Что за птицы, он в азарте разбирать и не стал, привычно вскинул к плечу тозовку, ударил раз и второй. Из-за неблизкого расстояния – метров пятьдесят, не меньше, – дробь сильно раскидало, и она вспенила воду маленькими бурунчиками, разлетелась широкой, убегающей вдаль полосой.

Ни одна из птиц не упала.

Феофан торопливо выбросил из стволов латунные гильзы прямо на землю: некогда подбирать, когда перед тобой невзятая дичь, – судорожно распахнул патронташ, мигом отыскал патроны с нолёвкой – крупной дробью (они были в ячейках с краю, слева, перед двумя жаканами), выцарапал их, загнал в стволы, вскинул опять ружьё...

И очнулся. От него суматошно, помогая для скорости крыльями, отплывала стая лебедей. Взлететь они не могли, потому что ветер дул с его, Феофана, стороны, а для взлёта нужен ветер в грудь. Поэтому лебеди просто отплывали.

«Что же я, озверел совсем?» – подумал он и опустил ружьё. Постоял так маленько, разломил дробовик, вынул патроны, сел на траву.

«Промысловик, едри твою! Открыл пальбу! Жрать нечего, что ли? По лебедям канонаду устроил!» – так ругал он себя, пока сидел и курил.

На середине озера лебеди сбились в кучу, плавали там и громко переговаривались. Наверное, обсуждали пережитый страх и ругали друг друга, что подпустили охотника так близко.

«Хорошо хоть не подстрелил никого», – подумал Феофан, когда уходил домой.

Ночью он спал плохо.

Под утро ему приснился лебедь, почему-то серый, с тёмным хвостом и красными лапами. Лебедь открыл грудью дверь, тяжело шатаясь, подошёл к кровати и положил мокрую холодную голову ему на ухо. Феофан вскрикнул и проснулся.

Сон был настолько отчётливым, что он приложил ладонь к уху. На нём и впрямь ещё сохранился какой-то холодок. Будто действительно от прикосновения лебедя.

– Приснится же хреновина! – ругнулся Феофан, но уснуть больше так и не смог.

Больше чем полгода тому назад, весной, от Феофана Павловского ушла жена Зинаида. Она и раньше за пятнадцатилетний срок совместного их проживания уходила уже не раз. Но то были просто ссоры, у кого их не бывает в семейной жизни? Тем более далеко идти не надо: Зинаидина мамаша, то бишь драгоценная тёща его, жила через пять домов по деревенской улице – воду брали из одного колодца.

Феофан подходил утром к тёщиной калитке, покашливал и требовал:

– Зина, выдь!

Зинаида пару минут помалкивала, выдерживала паузу, мол, поклянчь подольше, поклянчь! Затем выглядывала с недовольным видом в окошко.

– Ну что, не обшалелась ещё? – спрашивал её Феофан. Зинаида махала на него рукой, совсем уже незлобно ругалась и возвращалась. На этот раз она не вернулась, и Феофан запил.

Получилось всё до того обидно, что зазывать жену обратно ему и самому не захотелось. Той весной Феофан построил самолёт.

Он строил его долго, всю зиму. Таскал в сарай фанеру, алюминиевые трубки, гайки... разобрал мотоцикл. Якобы временно снял мотор, объяснил, что потом поставит на место, но Зинаида знала: всё, нету у них больше мотоцикла, раскурочен.

– Да восстановлю я эту хламиду, наездися, не возникай ты... – заверял Феофан.

Но больше всего её раздражали разговоры и возня супруга вокруг самого самолёта.

Каждый вечер после работы на кузнице Феофан часов до десяти-одиннадцати ковырялся в сарае. Доносились оттуда то скрежет, то визг дрели, то тюканье топора. Не говоря уж о выходных.

Надо бы то-другое по хозяйству, а мужик всё там, в сарае.

Перед сном хлебнёт ложку супа – и нет чтоб о чём деловом-семейном, так нет:

– Зина, скоро в Архангельск полетим! Полетим, а?

– Я вот шарахну сейчас промежду глаз, ты и полетишь с кровати, змей, – злилась Зинаида. – Лётчик тоже выискался!

Феофан держался миролюбиво, скандального тона не поддерживал.

Ещё Зинаиду раздражало всеобщее внимание, всё сильнее с каждым днём стискивающее их дом.

Куда ни сунься – в магазин ли, на ферму ли, бабы лезут с вопросами: «Как там лётчик-то твой? Не улетел ешшо? Гляди, Зинка, махнёт крылами...»

Кличка Лётчик крепко прилипла к Феофану, как только деревня узнала, что он строит самолёт. Его и в глаза так называли, а он и не обижался, ковырялся в сарае и никого туда не пускал, даже Зинаиду. Её это бесило. А народ, в особенности мужики, на рабочих перекурах да вечером в клубной бильярдной, схожей из-за табачного сумерку с крутой парилкой, терзали и мусолили один и тот же вопрос, хотя и по-разному поставленный: что же будет дальше? И сходились все тоже в одном: у Павловского хоть и точно сидит гвоздь в одном месте, отчего ему самому и не сидится, отчего и прыгает он от одного дела к другому, но руки у него растут именно оттуда, откуда нужно, да и голова работает справно.

Дождались. В один мартовский вечер Феофан заглянул к своему старому другу трактористу Пашке и попросил подогнать на следующее утро трактор к его сараю, да чтоб с пеной-

прицепом в виде листа железа. Как вышло – неведомо, но об этом сразу стало известно всей деревне, и на другое утро народ вывалил на морской берег. Туда трактор и привёз Феофанин самолёт.

Впрочем, назвать так это сооружение человеку, мало знакомому с авиацией, было бы сложно, самолёт был необычен: продольные и поперечные алюминиевые трубки, непомерно широкие и размашистые фанерные крылья, внизу, под крыльями, висел мотор с выкованной самим Павловским лопастью. Кабины как таковой не было. Спереди, среди трубок, закреплено было фанерное сиденье, да руль, да ветровое стекло, снятые опять же с вышеупомянутого мотоцикла.

Утреннее солнце восходило над белым льдом, сковавшим море почти до самого горизонта. В воздухе летали и искрились острые хрустальные иглы. Морозец разбил, расшершавил снежную поверхность на миллиарды кристалликов, солнце отражалось в них множеством разноцветных лучиков, которые стреляли по лицам людей.

Те шурились и глядели из-под ладоней на самолёт и Феофана. Среди толпы была и Зинаида. Самолёт и вся эта возня вокруг него были у неё как кость в горле, она и видеть его не хотела. Но по странной, никем не понятой и не объясненной пока женской логике всё же пришла. Ей не хотелось, чтобы её суматошный муж куда-то взлетел, – это было бы уже слишком... Ну а случись взлететь... Кто знает, может, прощены бы ему были и расхристанный мотоцикл, и многое чего другое.

Он завёл мотор, сел в «кабину» и взялся за штурвал. На толпу и не глянул, только прихлопнул правой рукой шапку и втянул голову в плечи. Мотор стучал какое-то время ровно, потом взревел, как остервеневшая псина, отчего несколько оробевший передний ряд отпрянул назад, и самолёт побежал по льду. Всё скорее, скорее. Двадцать саженей, пятьдесят... Пора бы взлетать.

Но самолёт не взлетел.

Он добежал до первого же ропака и врезался в него левым крылом. Его резко развернуло, качнуло, правое крыло стукнулось о лёд и отломилось. Феофана отбросило метров на пять, и он зарылся в колючей снежной замяти.

Толпа ахнула и ринулась к нему. Но Павловский встал сам, поднял со снега и нахлобучил на голову шапку, ни на кого не глядя, побрёл к дому. Там, не раздеваясь, бухнулся на кровать и молча слушал Зинаидины причитания и сборы. Она опять уходила. Феофан не стал уговаривать её, зная, что бесполезно. Но вечером предпринял попытку наладить отношения.

На случай мирного исхода купил маленькую и потопал к тещиному дому. В дом заходить не стал, звякнул щеколдой на калитке.

– Зина, выдь! – попросил.

Жена на этот раз не заставила себя ждать, через полминуты уже была на крыльчке: видно, знала, что разговор предстоит.

– Уйди, заразина, чтоб духу твоего. – крепко повысила она голос, и Феофан попытался сразу встрять, чтобы расслабить обстановку.

– Понимаешь ты, элероны у меня не сработали, да и угол у крыльев не так немного рассчитан, высоту не набрать было.

– Башка у тебя не сработала, а не эти, как их. – Зинаида мало разбиралась в авиационных терминах и поэтому перешла на более привычные, бытовые. Сделала скорбное лицо и закачала головой: – Это я сколько годиков с дуриком маюсь, а?! Верно говорят, гвоздь у тебя в этой самой!.. Посмешище из меня сделал. Где мотоцикл, зараза, а?

– Он же старый был, Зина, всё равно...

– Лучше бы ты пропил его, чем вот так кокнуть!

– Чем же лучше-то? – удивился такому повороту Феофан.

– Меньше бы люди смеялись.

Зинаида схватила пустое ведро, стоявшее тут же, рядом, на крыльце (видно, припасённое), и кинула им в Феофана. Ведро не долетело, но забренчало на всю деревню. Это дурацкое ведро и этот ведерный гром почему-то оскорбили Феофана больше всего. «Клоунату устроила, – размышлял он потом, – поленом хоть бы бросила, не так бы обидно было».

– Уйди с глаз! – крикнула жена вслед.

Разговор не получился. И Феофан крепко запил.

Считай, всю неделю над деревней, вдоль морского берега, тянулись серые и белые клинья, шеренги, нитки птичьих стай. Феофан видел их всякий раз, когда шёл на работу в свою кузню, когда возвращался обратно. Всякий раз он подолгу стоял и глядел на небо.

Пронзительно, словно горько обиженные маленькие дети, плакали, улетаая к югу от моря, расставаясь с ним, полярные гагары.

«Ага-ага», – соглашались друг с другом, покидая родные, но остывающие осенние края, гуси-гуменники.

«Кырлы-ган», – потерянно-прощально горланили запоздалые журавли.

«Клин-клини», – меланхолично звенели колокола лебедей.

А на море густой чёрно-белой россыпью плавали казарки, морские утки-аулейки и морская чернеть. Они ссорились там из-за корма и не торопились никуда улететь. Этим самым они обещали долгую осень.

В субботу Феофан опять пошёл на капканы.

Тропинка юлила по неровному, бугристому берегу Среднего озера, то резко вскидывалась вверх, то ныряла в холодные мелкие ключи, густо изрезавшие своими прозрачными струями спуск к воде. Он не любил ходить по этой тропинке: поневоле прыгаешь на ней, как козлик, вверх-вниз, с бугорка на бугорок. Обычно он обходил озеро по верхней тропе, идущей по вершине угора, растянувшегося вдоль всего берега. Там, на угоре, рос лес, весёлый, разноцветный, березово-ёловый. В нём обычно жировали рябчики и всякий раз высвистывали свои немудрёные песенки, очень схожие со свистками пацанвы, вызывающими сверстников из дома на улицу.

На этот раз нашлась причина прошагать низом, вдоль озера. Третьего дня к нему в кузню заглянул сосед, Витька Шамбаров, просто так зашёл, потрепаться, и наряду с прочими новостями рассказал, что видел на Среднем лебедея.

– Плавает одиношенок под тем берегом, – удивлялся Витька, – на юг не улетат, чё он, сдурел, чё ли, зима же скоро...

Этот рассказ неизвестно по какой причине задел Феофана, какая-то глубинная струнка тихонько ойкнула в нём и после того еле заметно, но неизбежно заныла, заныла. Что-то расстроилось в нём, смутно ещё, неоформленно легла на душу тень его, Феофана, вины за одинокого лебедея, отбившегося от своей стаи. Ведь он стрелял. Стрелял же!

Стрелял.

Он перестал уже верить Витькиному рассказу, когда всё же увидел лебедея.

Тот плавал на другой боковине озера – там, где лес спускался с высокого угора к самой воде. Угор и лес вырисовали на ней длинную тёмно-коричневую тень, и лебедь, хотя до него было далеко – метров семьсот-восемьсот, – резко выделялся на ней белым, фигурно вырезанным пятном. Туловище, длинная прогнутая шея. Точно, лебедь!

– Чё он, сдурел?! – тихо, но с возмущением сказал сам себе Феофан. – Замерзнуть тут решил? Не улетает.

На Долгом он опять проверил капканы. На этот раз почему-то суетился, нервничал, что ли.

Пойманных ондатр шкерить не стал, обжёгся на первой же – второпях сделал порезы на шкурке. Остальные пять побросал в рюкзак. Решил всё сделать дома, в бане. Там, в предбаннике, ещё лучше: тепло, электричество, готовы пальцы...

«Странно всё же, что он не улетел вместе со всеми. Может, оголодал да силёнок набирает? Бывает такое. Неужели подранок?!»

Вот эта мысль, старательно загоняемая Феофаном в самые дальние уголки его души, всячески выбиваемая из самого себя с того момента, когда Шамбаров рассказал об одиноком лебедь, опять выпросталась из своего ухорона, разрослась, раздулась, легла свинцовой тяжестью на сердце, обвила его мерзкими липкими лапами. Всякое может быть, ведь он стрелял по стае.

Стрелял.

Обратный путь его пролёг по той стороне озера Среднего, где он видел лебедя.

Высокий угор, набычившийся справа, не пускает сюда солнце. Здесь холодно, куда холоднее, чем на другом, южном берегу, и темновато.

Но здесь почти не стоял снег, выпавший три дня назад. Он лежал широкими белыми пластами на земле, рыхлой ватой – на ветках и окрашивал воздух свежим ровным светом.

Лебедя Феофан нигде не нашёл. Не было того ни на воде, ни на берегу. Он прошёл почти уже весь берег, впереди открылось ровное место: покатый луг с жухлой, посеребренной снегом травой, дальше – маленькая лахта, тоже открытая отсюда, с гнилым чахлым берегом. Там никакого лебедя тоже не было.

Поначалу он обрадовался. На какие-то мгновения упал с плеч груз, давивший эти дни: улетел, слава Богу, улетел, не иначе! Феофан сел на корягу, закурил, поглядел на синюю стынь воды...

Потом поднялся и пошёл назад.

Что-то не отпускало.

Примерно напротив того места, где он видел в воде лебедя, на снегу ступенчатой цепочкой отпечатался след большой птицы. Новехонький, настолько резко очерченный, что Феофан различил на отпечатках перепонки узоры складок, он вёл почему-то на угор.

«Зачем ему туда? Там же зверье всякое. Сожрут в два счёта.» – недоуменно прикинул для себя Феофан и заторопился туда же, на угор.

По правой стороне следов по снегу пролегла какая-то черточка. Он сначала не обратил на нее внимания, потом разглядел и от нахлынувшей догадки остановился, обомлевший.

Подранок! Это у него крыло волочится!

И тогда он побежал.

Угор был сырой и крутой. Феофан несколько раз поскользнулся, падая на вытянутые руки, по спине хлопал рюкзак с лежащими в нем ондатрами. Когда забежал на вершину утора, запутался в низком, коряжистом кустарнике, снова упал. Какое-то время лежал на земле, отдышался, положив голову на согнутую руку, потом сообразил, что снегу здесь, на вершине, нет, здесь он стоял, а значит, следов больше нет, они кончились. Он вскочил, побежал вперёд, пробежал метров двести – кругом земля, следов нет, лебедя тоже. Бросился направо, полубегом дал по лесу круг, другой. Лебедя не нашел.

Он остановился, огляделся, стал соображать, что же делать дальше. Решил начать всё сначала, вернулся к тому месту, где оборвался след.

Короткий осенний день затухал. Серым туманом на лес напоздали сумерки. Феофана это волновало больше всего. В висках ритмично стучало: «Не успею – опоздаю, не успею – опоздаю.»

Он понимал, что, если лебедь останется на ночь в лесу, до утра он не доживёт. В этом году развелось лисицы как никогда. Жируют напоследок перед зимой. Какая-нибудь да натолк-

нётся на следы, найдёт по запаху... Да мало ли. Рыси вон шастают, еноты, волки – прорва этих зубастых. А тут птица беспомощная, с перебитым крылом, не отбиться, не улететь. Чего стоит горло перехватить.

Почему он в лес пошёл, лебедь-то? Раненый, ему на воде только спасение, не в лесу же. Стоп!

Там же, впереди, Кривое озеро! Далеко до него, правда, с километр, не меньше, но, может, туда лебедь-то двинул?

Остальные мысли приходили в голову уже на бегу.

«Ну да, Кривое, оно же глубже, корма там больше, это точно! Может, из-за этого?»

Кривое уже просвечивало между сосен, когда впереди, немного справа, он увидел переваливающееся меж кустов белое пятно. Лебедь шёл, не особенно спеша. Идти ему, видно, сильно мешало волочащееся по земле крыло. Крыло то и дело цеплялось за можжевельники, за высокий черничник, и птица дергалась, припадала, выпрастывала крыло, шла снова вперёд.

Заметив человека, лебедь остановился, вытянул шею, замер. Замер и Феофан. Так они стояли с минуту, вглядываясь друг в друга.

Первым не выдержал Феофан. Он сделал шаг вперёд. Лебедь тут же сорвался, замахал здоровым крылом, собравшись, видно, улететь. Но улететь на одном крыле разве можно? Тело его потеряло равновесие, и он завалился на правый бок. Но немедленно вскочил и резво побежал к озеру, махая здоровым крылом.

Феофан догнал его лишь перед самой водой. Да и то случайно. Лебедь с маху влетел в густой вересковый куст и запутался в нём, зацепился сломанным крылом. Феофана же долго не подпускал, шипя на него, пытаясь долбануть клювом в лицо, ущипнуть.

Поняв бесплодность прямых попыток пленить лебеда, Феофан отпрянул, отступил на шаг.

Что же делать-то?

– Чего упрямисься-то, змей? – сказал он хрипло и добродушно. – Добра ведь желаю. Брось-ка кусаться-то, а?

Как завороченный смотрел Феофан на крыло, вывернутое, плашмя раскинутое. Примерно посередине его темнело пятно. Посредине чёрное, по бокам красное. Как раз в это пятно и уперлась толстая ветка, не дававшая лебедю возможности двигаться, убежать от него, Феофана. Это как раз и был перелом.

Что-то подкатилось к горлу... Феофан то ли вскрикнул, то ли прохрипел:

– Да тебе же больно, дурень ты! Больно ведь!

И пошёл на лебеда.

Он вытянул вперед правую руку и, не замечая ударов по ней тяжёлого сильного клюва, перехватил левой шею птицы около головы, правой обнял лебеда за туловище, осторожно примял крылья, оторвал его от земли.

Фельдшерица Клавдия Минькова со сна долго не могла сообразить, чего от неё хотят. Она была младше Павловского года так на четыре и, в общем-то, всегда, ещё со школы, признавала в нём толкового мужика, за исключением, конечно, некоторых странностей, и по старому обыкновению называла его на вы.

Но тут такой поздний звонок, да и пустой вроде бы. Поначалу она попыталась разрешить пустяковый этот вопрос по телефону:

– А вы выпейте димедролу, Феофан Александрович, и ложитесь, голова у вас обязательно пройдёт. Может, и не стоит мне к вам.

– Откуда у меня димедрол, Клава? – голос у Павловского был страдальческий, с подвывом. – Приходи скорей, Христа ради, жар несусветный, голова счас треснет.

– Ну, если не димедролу, так чего другого: пенталгину, аскофену, выпейте горячего чаю – и под одеяло, пройдёт, обещаю...

– Слушай, Клавдия, – возмутился Феофан, – ты эту клятву Герострата, или как там его у вас, принимала? Тебя больной вызывает! Больной! А ты кочевряжисся. Давай быстро дуй сюда, жалобу хошь, чтоб накатал? Помру, будешь знать.

– Вот что, Феофан! – взорвалась наконец интеллигентная Клавдия. – Я сейчас Леню позову, он тебе быстренько голову вылечит. Он тебе покажет «дуй». Ты зачем меня зовёшь на ночь-то глядя? Что, я не вижу, что притворяешься! Без Зинки заскучал, небось.

С Клавдииным мужем, Леонидом, Павловскому никак не хотелось связываться: здоровый, бычара. Легенда с больной головой не прошла, надо теперь выпутываться, придумывать что-нибудь понадежнее. Не скажешь же про лебеда, вовсе сочтёт за дурика.

– Ладно, не пугай своим, оглоблей этой. Видали мы.

– Видали не видали, а голову он быстро выправит, быстрее пенталгина.

– Да поранился я, понимаешь ты, крепко причём.

Фельдшерица замешкалась, судя по шелесту в мембране, заперебирала в руках трубку – не знала, видно, что сказать. На этот раз Феофан как будто не врал. Да и то: не зря же, в самом деле, позвонил, мужик-то серьёзный, не гуляка какой.

– Так, а что за ранение? Порез, ушиб? – поинтересовалась она уже деловым тоном, каким медики всегда разговаривают с пациентами.

Павловский бухнул так, чтобы ей уже было не отвертеться, чтобы точно пришла со своими бинтами-ватами.

– Перелом у меня, понимаешь ты, хреновое дело.

– Перелом чего? – забеспокоилась Минькова и часто задыхалась в трубку.

– Да руку тут... Треснула зараза, как спичка...

– К-ха, да что ж вы сразу-то не. – голос у Клавдии задрожал, перешёл в жалостливый, плачущий. Таким голосом женщины разговаривают, когда чувствуют свою вину. – Про голову мне голову морочите.

– Это я от боли, – тихо сказал Павловский. – Посмотрел бы я на тебя, Клава, в таком состоянии. Всякая дребедень в голову лезет. Да и пугать не хотел, думал, так придёшь.

– Да, а диагноз-то разный, одно дело таблетки, другое – шины накладывать.

– Во-во, шины не забудь, – наказал ей Феофан, – да лекарств побольше.

Клавдия чуть не с порога попыталась оказать Феофану первую медицинскую помощь.

Запыхавшаяся, покрасневшая от быстрой ходьбы, быстро скинула с себя пальто, сполоснула руки, вытерла принесённым с собой полотенцем, торопливо подошла к Павловскому.

Тот сидел на стуле рядом со столом в сером шерстяном свитере и почему-то улыбался. На эту улыбку Минькова внимания не обратила. Она знала, что у больных, а тем более у серьёзно травмированных, это бывает. Своего рода шок.

– Ну так что с рукой, Феофан Александрович? Показывайте.

Павловский молчал и всё улыбался.

Клавдия стояла, ничего не понимая, потом в поведении Феофана всё же распознала некое коварство. Она не знала, что ей делать дальше.

– Где болит-то? – в её голосе начинало звенеть возмущение.

– Вот здесь, – Павловский положил свою костистую ладонь на грудь.

Клавдия резко фыркнула, словно ей дали нашатыря, круто развернулась и бросилась одеваться.

– Погоди, Клавушка, погоди, Христа ради. Не зря же я тебя позвал, ей-богу, – взмолился сначала Феофан, а потом спокойно, со значением, сказал слова, к которым хочешь не хочешь, а прислушаешься: – Понимаешь ты это, птицу красивую кто-то поранил... вылечить её надо.

Клавдия остановилась. Повернулась:

– Долго ещё врать-то будешь? Нашёл дуру! Ну я Ленке расскажу.

– Не-е, Клава, я серьёзно. Помоги, а? Надо вылечить. Век не забуду, Клава.

Минькова не знала, что и ответить: не поймёшь этого Павловского. Не зря Зинка за чокнутого его держит.

– И где этот фазан твой? – спросила она так, будто точно знала: сейчас Павловский опять что-нибудь соврёт.

– Почему эт фазан? – удивился Феофан.

– Ну он же вроде самый красивый, с хвостом.

– Не-е, у меня лебедь.

И Феофан повёл Клавдию на поветь. Включил свет.

Там, в старом обшарпанном курятнике, находилось нечто большое, белое и бесформенное. Клавдия не сразу поняла, что это действительно лебедь, потому что странное существо никак не прореагировало на пришедших людей. Только потом уж разглядела тонкую шею, чёрную бусинку глаза да жёлто-чёрный клюв, уткнувшийся в пол.

– Чё он как мёртвый? – спросила она вполне уже заинтересованно.

Феофан стоял почему-то бледный, растерянный, будто провинившийся ребенок.

– Не мёртвый он, а раненый, – сказал он тихо. – Я, Клава, и позвал тебя, чтобы вылечила его.

Минькова вздохнула и приказала:

– Дак доставай его, я же не могу прямо тут, в курятнике...

Феофан болезненно сморщился, вытянул из кармана рукавицы-верхоньки, надел их и полез доставать. Лебедь сразу же приподнялся на лапах, запереваливался, вытянул шею, изогнулся, зашипел и сильно клюнул Павловского в левую руку.

– Да не кусайся ты! – охнул тот и, обхватив лебеда за бока, стал вытягивать из курятника. – Клаша, держи голову, Христа ради, заключает ведь, змей!

Клавдия помогла. Вдвоём они кое-как затащили лебеда на кухню. Тот неистово сопротивлялся, несколько раз больно царапнул Павловскому руку. Тот даже не вскрикнул. Было некогда.

– Принеси мешок! – прошипел Павловский.

– Какой ещё? – Минькова заозиралась, выискивая его глазами. Шею лебеда при этом держала обеими руками.

– Вон, на лавке, чёрный! Да быстрее, Клаша, вырывается, зараза!

Клавдия бросилась за мешком, отпустила шею. Лебедь тут же развернулся и прямехонько ударил Феофана в лоб.

– Ой! – вскрикнул тот и уткнулся в перья лицом, руки всё же не разжал.

Пока Минькова обернулась с мешком, Павловский получил ещё два прямых тычка клювом в плечо и в руку. Клавдия перехватила опять шею.

– А мешок-от зачем?

– Да на голову ему, на голову! Трудно понять, что ли?! Напяливай!

– А ты на меня не кричи! Вытащил ночью, а ещё и орёт, авантюрист! – огрызалась Клавдия, всовывая голову птицы в мешок.

– Тебя бы так в лоб долбануть!

С мешком на голове лебедь затих, сжался, лишь вяло ворочал лапами.

Кость была сломана чуть повыше срединного сустава. Кровь на этом месте запеклась, почернела, перья слиплись.

Она обрезала их по краям перелома, промыла рану перекисью водорода. Лебедь при этом резко задергался, опять зашипел.

– Не кувыркайся ты, дурень, – уговаривал его Феофан, с трудом сдерживая, – лечат ведь. В качестве шин Минькова хотела использовать металлические пластинки, которые вытаскивала из сумки. Но Павловский спросил:

– Может, вот эти подойдут?

Рядом, у плиты, лежали гладко выструганные короткие и узкие дощечки, закруглённые с одной стороны вовнутрь.

Клавдия примерила к крылу. Получилось как раз.

– От железа всё же холодит, – пояснил Феофан, – а эти из берёзы и тоже прочные.

– Голова ты, Феофан Александрович, – отдала ему должное фельдшерица.

Она ещё какое-то время поработала над раной: пинцетом и крохотными щипчиками выковыряла из нее всё лишнее, прилипшее, чем-то ещё раз смазала, наложила с двух сторон деревянные брусочки, туго перебинтовала; лебедь тяжело ворочался в руках Феофана, шумно, со свистом дышал.

– Хорошо, что заражения нет, – сказала она с удовлетворением. – Ну и не должно: сейчас холодно, а он в воде, ополаскивался всё же. Давно его стрелили-то, как считаешь?

– Откуда мне? – опустил глаза Павловский.

– Живодёры вы, охотники! Что сказать, на такую красоту ружьё поднять!

Феофан сидел на полу с лебедем в охапке, как торговка на рынке. Вид у него был растерянный и довольно жалкий.

– Клаша, а заживёт у него, как считаешь?

– Должно зажить, если, конечно, сам не помнется.

– Не-е, я его обратно, в курятник...

Клавдия сноровисто одевалась, торопилась, видно, к своему Ленке, досыпать.

– Клаша, а ты заходи, а? – канючливо попросил Феофан. – Вдруг чего.

– Зайду, ладно, – сказала Минькова и хлопнула дверью.

Первые три дня к нему в дом никто не заявлялся, хотя Феофану очень хотелось поговорить с кем-нибудь о появившихся новых хлопотах.

Хлопот было достаточно.

Первым делом беспокоило то, что лебедь ничего не ел.

С этой проблемой Феофан прямо-таки извёлся. Предлагал рубленую картошку, червей, хлебные крошки, мелкую свежую наважку, только-только пойманную в рюжу, ещё живую. Лебедь сидел в курятнике, нахохлившийся, недвижимый. Безучастно глядел, как перед самым клювом прыгали в миске мелкие рыбки. Феофан не вытерпел, взял одну, попытался всунуть в клюв. Тот вяло отвернул голову.

– Ну что дурью-то маешься? – шумел Павловский, крутясь вокруг да около курятника. – Силы тебе нужны, помрёшь ведь, вредина!

Позвонил Миньковой, спросил: что да как, почему, мол, такое дело? Та объяснила: бывает, реанимационный период, адаптация, пройдёт, мол. Слов мудрёных натрещала. Легче от этого не стало.

Побежал к соседке. Анна Яковлевна была толковой старухой, разбиралась в каких-то травах.

– Помоги, Яковлевна, а? Подохнет зверюга, жалко.

– Вот что, – посоветовала соседка, – размочи-ко, Фанюшка, свежий веник да попотчуй, должно понравится.

Хрена с два. Даже не понюхал. Ещё больше втянул шею куда-то в перья, скукожился, да и всё.

– Привереда, так твою!.. – нервничал Феофан.

Вечером в гости пришёл Витька Шамбаров, старый кореш. Без особых разговоров перешёл к делу: достал из нагрудного кармана новенькой фуфайки «малька», поставил на стол, разделся, придвинул к столу табуретку, сел.

Павловский строгал обрубком косы лучину, наставлял самовар. Был он мрачен и неразговорчив.

– Ну дак присаживайся, что ли, хозяин, – сказал с равнодушьем в голосе, как о чём-то само собой разумеющемся, Шамбаров, откручивая у «малька» головку.

Феофан зажгёт пучок лучин, спустил его в самовар, положил сверху пару углей, поставил трубу. Потом молча, привычным движением сграбастал с полки два стопаря, хлопнул их на стол, присел.

Молча выпили. Шамбаров крякнул, захрустел свежепросольным огурцом.

– Ты, говорят, Фаня, хозяйством обзавёлся, птицу домашнюю завёл али что?

Павловский тяжело махнул рукой, уставился в одну точку. Ему, видно, не хотелось вырывать на эту тему.

После второй Виктор вытер рукавом губы и вдруг заканючил:

– Фань, показал бы, а? Интересно, спасу нету. Это я ж тебе подсказал, что он на озере. Фань, а?...

Павловский не стал упираться. Лебедь волей-неволей вошёл в его жизнь, появились проблемы, которые выростали на душе, как нарывы. Вылечить их можно было только общением с людьми. Шамбаров как раз из тех, с кем можно...

Они присели перед курятником на корточки, и Виктор заприщелкивал языком.

– От ты, надо же, красавец!

Лебедь сидел в прежней позе, недвижимый, нахохленный. Перед ним, как всегда, – миска с наважкой и хлебным мякишем. Шамбаров стал вдруг возмущаться:

– Что ж ты, Фаня, его в курятнике-то держишь? Ему же простор требуется, такой птице. Кто же жрать в такой тесноте будет? Ты бы стал?

– Крыло у него заживает. Снова поломать может, если выпустить.

– Связать крылья-то, да и всё, вот и не ломает.

Это была идея. Феофан даже улыбнулся.

– Слушай, – сказал он Шамбарову, – ты когда это (он звонко щелкнул себя по кадыку) ... у тебя мысли свет-лыи-и. Тебе надо каждый день по маленькой, как минимум Эйнштейном сделаешься, али там Кулибиным.

Шамбаров, довольный, гыкнул, что-то пробурчал. Они прикинули, чем бы лучше связать лебедю крылья. Верёвкой нельзя – резать будет. Решили: куском сетки. Феофан сбегал на подволоку. Поковырялся там, выбрал дырявую пинагорью сетку из обычного прядена, примерил, какой нужен кусок, отрезал.

Из этого куска они сделали своего рода рубашку, которая плотно прижала крылья к туловищу. Сверху Феофан сшил рубашку капроновой ниткой. Получилось, кажется, неплохо.

Лебеда после этого поднял на руки и перенёс на серёдку повети. Поставил рядом с кучей клеверного сена. Тот сначала, как обычно, присел, затем вдруг приподнялся, сделал несколько тяжёлых, переваливающихся шагов и присел снова, но голову на этот раз не втянул, так и остался сидеть с вытянутой шеей. Феофана это обрадовало: всё же лебедь немного ожил. Миску с едой сразу же вынули из курятника и приставили поближе к нему. Шамбаров, заметив перемену в настроении приятеля, хлопнул в ладоши, засуетился:

– Фаня, продолжим, а? За первые шаги. Топ, топ, топает малыш.

Когда сели опять за стол и опорожнили «малька», Феофан склонил голову и произнёс то, что наболело, что надо было когда-то кому-то высказать:

– Ты понимаешь, какое дело, – это ведь я его... Ну, поранил-то. Стрелил по стае, одного, видно, зацепил. Стая улетела к теплу, а он не смог.

Шамбаров занимался привычным делом: придвинул поближе стопку, нарезал огурец, наколот кусок на вилку.

– А мог и не ты, откуль знать? Ты ж не видел: попал – не попал.

– Да я, кто ещё. – тихо сказал Феофан. – Из-за меня он.

Шамбаров понял: успокаивать бесполезно, – и сказал первое, что пришло в голову:

– Вообще-то, Фаня, за это по головке не поглядят, штраф как минимум. Если ты, конечно, всем звонить про это будешь.

Феофан тяжело вздохнул, будто справился с чем-то крепко и громоздко сидевшим в горле.

– А и отвечу, Витя, что сделаешь. Сам виноват: никто дробовку мне к плечу не прикладывал. Сам всё.

Он горько поморщился:

– Вылечить бы его только да на крыло поставить. С души бы камень. Пусть летит на все четыре. со своими.

Было ясно: Феофану тошно. Надо было его расшевелить, что ли. Виктор схватил стопку, чокнул её о приятелю, тряхнул головой, раскинул, какую мог, широкую улыбку.

– Да ла-а, чё ты, Фанька! Вот хандрёж надумал! Делов-то: в дичь пальнул! Не охотник, что ли?!

Но Феофан расшевеливался слабо.

Разговор, как Виктор ни старался, толком не получался. Ну что делать? Шамбаров засобирился домой.

Перед уходом решил заскочить на поветь по делу. Там, за нею, дальше по проходу был туалет.

Феофан услышал за стеной крики, шум и выскочил из кухни.

– Уйди, зараза! – кричал Шамбаров. – Отстань ты, ну!

Он стоял на проходе, прижавшись спиной к стене. Перед ним в боевой стойке вытянулся лебедь. Тело его было напряжено, голова задрана на прямой шее вперед и вверх. Шамбаров держал в руках сапог и отмахивался голенищем.

– Счас, подожди! – крикнул Феофан. Он открыл дверь на кухню, нащупал рукой выключатель и потушил на повети свет. – Теперь смывайся!

Шамбарова не надо было упрашивать. Вылетел на кухню, как оглашенный, захлопнул за собой дверь.

– Во даёт, зверюга! Во даёт! Два раза клюнул. Чуть глаза не выстегнул! – он был бледен, глаза сверкали.

Феофан прижал к животу руки, перегнулся через них и хохотал что есть моченьки.

– А как... как получилось-то? – спрашивал он сквозь смех.

– Как да как! – разъяснял Шамбаров. – Когда вперёд шёл, вижу – разлётся у прохода. Отойди, говорю, так-перетак, мешаешь, мол, – и ногой его маленько отодвинул. А он ка-ак набросился, змей! – Виктор растопырил пальцы, сделав из них хищные когти, чтобы нагляднее продемонстрировать, какой опасности он подвергался. – Два раза клюнул, падла!

– А куда, ку-куда он тебя? – Павловский форменным образом зашёлся в хохоте. Вот-вот упадёт на пол и закатается.

– В живот, подпрыгнул – и в живот, представляешь? А ещё куда, не скажу – неудобно.

Феофан в безудержном хохоте, весь содрогаясь, еле доплёлся до стула, плюхнулся.

– А, а сапог-от, Витя, когда успел сдернуть?

– Когда приспичит, Фань, не только сапог сдернёшь, а и чего другое.
Кое-как просмеявшись, Павловский стал провожать приятеля.

Не удержался от подначки:

– Ты, Витя, в туалет-то ходил бы всё же.

Шамбаров вздрогнул и сказал со всей серьёзностью:

– Не-е, я лучше в другом месте.

Феофан сидел на крыльце и вдыхал в себя осень.

В такие минуты ему хотелось, чтобы кто-то посидел с ним рядом, поглядел на всё это...

Красиво же...

Позвал как-то Зинку, та послала его, как обычно, сказала, что только и дела ей как до его закидонов.

А что же жилец-то?! Он тут расслаживается, посматривает да покуривает, а тот, бедняга, там в темноте, на повети. Ох ты ж боже мой!

Несправедливость!

Так, а не удерёт он, если выпустить на волю?

Удрать не удерёт, но попытку сделает, это уж точно! С характером, стервец!.. Но надо пробовать, не век же сидеть взаперти. Скоро зима, пусть тоже поглядит на осень.

И Феофан пошёл на поветь. Там, уже наученный горьким опытом, он набросил на голову лебеда лёгкую тряпку, отчего тот сразу же затих, поднял на руки и бережно перенёс на огород.

– Эй, Фаня, ты чего, новую скотинку завёл?

За забором стоит и смотрит на лебеда из-под козырька ладони колхозный радиомеханик Автоном Кириллович Петров, шестидесятипятилетний мужик, донельзя словоохотливый и шепутной. С ним в беседу вступать нельзя – заговорит до полусмерти.

– Пасёшь? – начинает словесный разгон Петров и улыбается. На давненько бритом лице выстраиваются косыми резкими лучами глубокие морщины.

– Угу, – не поддается Павловский и смотрит на облака.

– Мда, – Петров, видно, размышляет: с какого же боку подступиться? – А где же ты, Фаня, её приобрёл-то?

– Да так вот случилось. – больше Феофан ровным счётом ничего не разъясняет, и Автоному это крепко действует на нервы.

Он переминается с ноги на ногу, ищет про себя варианты прояснения ситуации и находит один.

– На меня ведь, Фаня, на самого рысь скакнул в тридцать шестом годе. От беда.

Тут Павловский начинает хлопать себя по карманам, вроде бы ищет курево, как видно, не находит, привстаёт и кричит, перебивает сто раз слышанный рассказ-байку про то, как Петров голыми руками победил хищную зверюгу.

– Закурить не найдётся, Кирилыч?

Тот понимает, что благодарной аудитории здесь ему не найти, и уходит.

Прошли две бабы-доярки, поздоровались, долго стояли у забора, глядели, обсудили здесь же все свои проблемы.

Потом подвалила ребятня, повисла гроздьями на изгороди, навела треску, засыпала распросами:

– Что за птица? Как зовут? Почему крылья связаны? Будет ли летать?

Лебедь на детвору вальяжно пошикивал.

Вечером пришел Шамбаров.

Привычно разделся, как обычно, хлопнул на стол что полагается, при этом возбужденно крикнул. Сполоснул руки и, вытирая их, взгляделся в Феофана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.